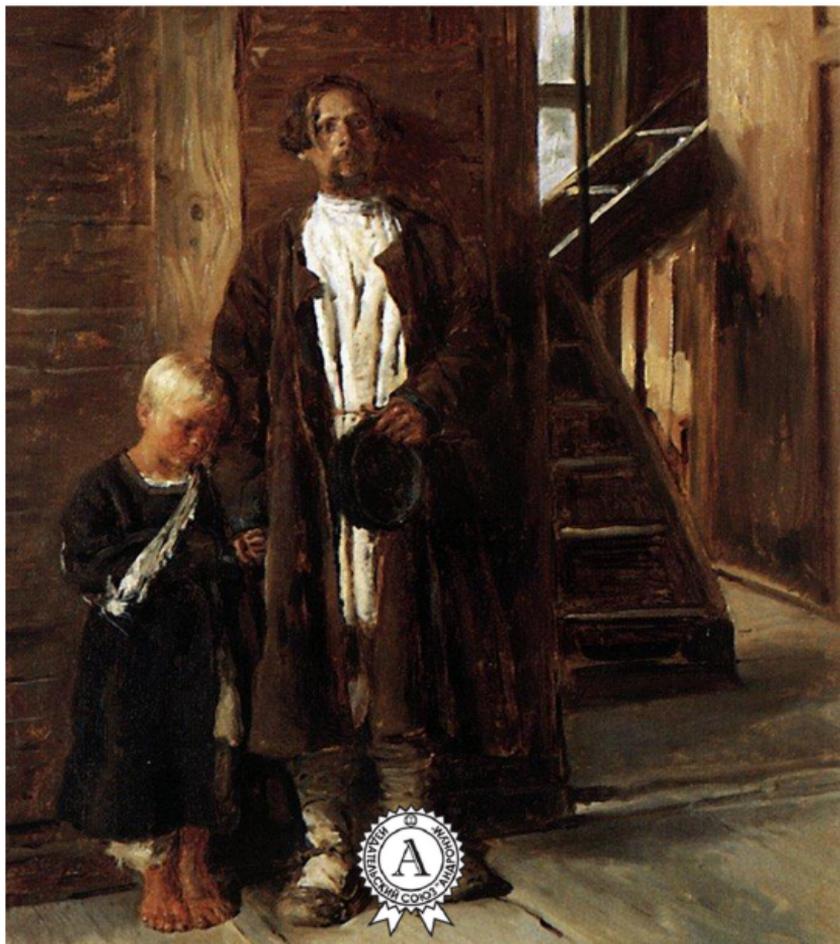


Д. В. Григорович

**АКРОБАТЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ**



Дмитрий Васильевич Григорович

Акробаты благотворительности

«Акробаты благотворительности» – увлекательная повесть русского писателя-реалиста Дмитрия Васильевича Григоровича (1822 – 1900).*** В этом произведении изображены мнимые филантропы, которые используют благотворительность в корыстных целях, в то время как до нуждающихся доходит лишь малая толика пожертвований. Д. Григорович также известен как автор произведений «Бобыль», «Неудавшаяся жизнь», «Капельмейстер Сусликов», «Прохожий», «Смедовская долина», «Свистулькин», «Пахарь», «Кошка и мышка», «Пахатник и бархатник». Дмитрий Васильевич Григорович стал знаменитым еще при жизни. Сам будучи дворянином, он прославился изображением быта крестьян и просто бедных людей.

Содержание

#1	0005
I	0006
II	0022
III	0050
IV	0063
V	0074
VI	0101
VII	0121
VIII	0136
IX	0144
X	0157
XI	0168
XII	0195
XIII	0211
XIV	0226
XV	0240
XVI	0266

Дмитрий Григорович
АКРОБАТЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Повесть

*... «Служение общественной пользе!
Благодетельность! То и другое свя-
тое дело, если только руководят ими
искреннее чувство и убеждение...»
Аббат Ламенэ*

*«Глядишь, сеют рожь, а выходит
ложь».
Русская поговорка.*

В одной из улиц Петербурга находится большое каменное здание, сооруженное в двадцатых годах нашего столетия; вы отсюда уже видите характер архитектуры: наверху неизбежный треугольный фронтон; ниже ряд толстых колонн, заслоняющих свет в средней части бель-этажа; еще ниже – совсем уже ни на что не нужный выступ с пятью арками; в средней арке помещается подъезд. К нему, в последнее время, приделали крытый железом намет на чугунных столбах.

Многие годы дом окрашивался краской цвета крутого желтка; цвет был тогда в моде. Но с тех пор произошли значительные перемены: нравы умягчились, вместе с ними умягчился вкус, и дом перекрасили в одноцветный жидко-серо-молочный цвет, не выключая колонн и фронтона. Не изменилось одно только: мостовая. Известно, что в наших городах вообще экипажи не столько катятся, сколько подсказывают, и возницы не столько правят вожжами, сколько дергают; но здесь уже просто, как говорится, вышибало из сиде-

нья и часто ломались оси.

При доме находился, однако же, экзекутор; но жалованье получал он маленькое, детей имел кучу и по необходимости посвящал большую часть времени собственным двум дачам на Черной речке; к дачам прилегал хозяйственно устроенный огород, снабжавши окрестных жителей прекрасной и даже недорогой клубникой. Служебные его обязанности, главным образом, сосредоточивались на квартире начальника, которая помещалась в бельэтаже, — и с этой стороны, надо отдать справедливость экзекутору, он был безупречен: камины и печи никогда не дымили, полы натирались до зеркальности, мебель и ковры всегда тщательно выбивались, дверные ручки и ключи поворачивались как в масле, все блистало чистотою и показывало примерное усердие. Последнее качество заслуживало тем больше внимания, что экзекутор никогда почти не встречал начальника, ни разу не удостоился от него похвалы.

Начальник был человек превосходный, с мягкой душой и великодушным сердцем; но он стоял на такой высоте, откуда можно было

видеть только крупные предметы. Постоянно озабоченный самыми сложными и разнообразными вопросами, постоянно устремляя взор на дальние горизонты, он проходил обыкновенно мимо, изредка кивая головою, часто даже не отдавая себе отчета в том, кому кивал и кто ему кланялся. Он вряд ли даже подозревал, о существовании эскуатора. Еще труднее было ему заметить неисправность мостовой, так как на всех его экипажах шины постоянно перетягивались толстым обводом из гуттаперчи.

В июле месяце, часу в десятом утра, парадная дверь описанного здания внезапно отворилась; на пороге ее показался швейцар. Он был пока запросто: парадная форма и перевязь заменялись длиннополым синим сюртуком и белым галстуком; но галун на фуражке и гербовые пуговицы на сюртуке достаточно указывали его звание. Из-за швейцара просунулся бочком румяный, как амур, курьер, с бляхой на груди, крутыми завитками на голове и толстым туловищем на коротких ножках.

Курьер закурил папироску; швейцар по-

просил у него огня; но, в ту же минуту, из-за угла показалась крытая коляска и прямо покатила к подъезду.

– Воскресенский! шепнул курьер, поспешно бросая папиросу и затапывая ее подошвой.

– Вижу! отозвался швейцар, повторяя то же движение.

Не дав экипажу окончательно остановиться, оба с озабоченными лицами ринулись вперед, отстегнули фартук коляски и принялись бережно, почтительно высаживать длинного согбенного господина, который, как только стал на ноги и выпрямился, оказался совсем еще не дряхлым человеком, – лет пятидесяти, не больше, – но уже значительно поседевшим. Волосы его не столько, впрочем, были белы, сколько отличались мутно-зеленоватым отливом; золотые очки, низко сидевшие на переносице, открывали пару выпуклых близоруких беловатых зрачков, которые мигали и щурились, как глаза совы, неожиданно выставленной на солнце. Несмотря на июль месяц, он был в теплом ватном пальто и резиновых калошах, наде-

тых на огромные плоские ступни с наростами подле большого пальца в виде луковиц. Малокровие, заставлявшее его зябнуть в то время, как другие не знали куда деваться от жары, достаточно, впрочем, подтверждалось мутно-золотушным цветом худощавого лица, обтянутого дряблой, расслабленной кожей. В целом, приезжий имел вид чего-то мягкого, разварного, замшевого и унылого, но, вместе с тем, было в нем также что-то вкрадчивое, подползающее, невольно, со стороны, внушавшее чувство осторожности.

– Афанасьев, медленно проговорил он, обратясь к курьеру, – возьми портфель из коляски; возьми также заодно ящик, завернутый в бумагу; но только осторожней; не толкни как-нибудь; то и другое снесешь в приемную...

– Слушаю, ваше превосходительство!

Пока курьер хлопотал в коляске, приезжий, сопровождаемый швейцаром, продолжавшим бережливо поддерживать его под локоть, успел пройти в прихожую, – просторную, высокую комнату на сводах; вся нижняя часть стен в промежутках, остававшихся сво-

бодными от э дверей и окон, была обита лакированным деревом с бесчисленным множеством вешалок; под выступающим карнизом выдвигался ряд стульев с прямыми спинками; перед одним из окон находился стол с чернильницей и толстыми книгами, где расписывались приезжающие и отмечались адреса. Прихожая освещалась, с одной стороны, окнами на улицу, с другой – широкой парадной лестницей.

– Позвольте вас почистить, ваше превосходительство. Вы изволили запылиться, озабоченно произнес швейцар, подбегая со щеткой, которая как бы скрывалась наготове в его рукаве и вдруг оттуда выскочила. – Теперь сухо, ваше превосходительство; изволили с дачи приехать – мудрено ли запылиться? добавил он с подобострастной фамильярностью слугителей, обращающихся к важным лицам, давно знакомым и близко стоящим к высшему начальству.

Отдавая себя в руки швейцара, г. Воскресенский ограничился тем, что поправил очки и снял шляпу, которую живо подхватил другой курьер, выскочивший из боковой двери,

В вицмундире, из-под борта которого скромно выглядывал угол звезды, г. Воскресенский показался еще худощавее и тщедушнее; унылое лицо его заметно, однако же, выказало здесь больше живости, самые движения стали бодрее; даже кончики фалд на вицмундире как бы сами собой затрепетали, напоминая перо рыбы, неожиданно опущенной в воду. Он, очевидно, чувствовал себя здесь на своей почве.

Лицо г. Воскресенского, освобожденное от шляпы, близко напомнило старую лисицу. Все черты стягивались к заостренному холодному хрящичку носа, который, казалось, не столько вдыхал воздух, сколько постоянно что-то обнюхивал; к сходству прибавляли также большие уши, торчавшие навывлет и кончавшиеся острьяками на верхней части. Впечатление смягчалось несколько сединою волос, спускавшихся вдоль щек жидкими плоскими прядями; в них точно так же было что-то расслабленное, как бы страдавшее от недостатка питания на их почве. То же самое можно было сказать о глазах с их беловатыми выпуклыми зрачками, окаймленными крас-

ными опухшими веками; они также казались утомленными и расслабленными, также смотрели вниз, отвечая на вид тихому голосу и мягким движениям их владельца.

– Никого еще нет? – спросил он, указывая глазами на парадную лестницу.

– Никак нет, ваше превосходительство! отвечали в одно время и с одинаковой поспешностью швейцар и курьер.

– Кто сегодня дежурный?

– Господин Стрекозин.

Г. Воскресенский направился к парадной лестнице, открывавшейся светлым пятном между двумя колоннами, отполированными под мрамор; освещаясь справа окнами второго этажа, лестница после первой площадки делилась на две части, подымавшиеся параллельно одна другой; они приводили на верхнюю площадку, украшенную такими же колоннами, как при вход; ковровая полоса красного цвета, перехваченная у каждой ступени медным вылощенным прутом, занимала середину лестницы и прекращалась у входа в большую светлую залу, украшенную лепной работой.

Войдя в нее, г. Воскресенский тотчас же взял влево, отыскал ручку незаметной двери и отворил ее тае же спокойно, как у себя дома; миновав большую столовую, он перешел в буфетную, обставленную высокими шкапами; сквозь стекла виднелись серебро и всякого рода посуда.

Боковая часть стены забрана была изразцами и тут же выставлялась плита, подле которой стоял кухонный мужик В красной рубашке и белом переднике; против плиты, перед окном, раскидывался длинный липовый стол; на нем красовался серебряный поднос, оснащенный чайным прибором, корзиной с хлебом, маслом и яйцами, глядевшими из-под салфетки с вытканым гербом на углу. Перед подносом хлопотал величественного вида буфетчик во фраке, белом галстуке и вязаных перчатках; обстрижен он был под гребенку; лицо его, круглое, как пузырь, и выбритое под атлас, сияло важностью и довольством.

Оно проявило все признаки радостного оживления, как только в дверях показался г. Воскресенский.

— Ах, ваше превосходительство, как рано

изволили пожаловать! воскликнул он, раскланиваясь.

– Что, как его сиятельство? Встал? проговорил г. Воскресенский, снисходительно кивая головой.

– Только что перешли в уборную; не прикажете ли чаю, ваше превосходительство?

– Нет, спасибо... А что поделявает мой крестник, как учится? осведомился неожиданно г. Воскресенский, выказывая участие, которого, впрочем, не чувствовал.

– Благодарю вас покорно; перешел во второй класс гимназии... Все вас надо благодарить, ваше превосходительство...

– Ну, полно, полно...

– Помилуйте, как же! Не вы ли изволили определить его на казенный счет? Нам никогда бы этого не добиться, потому, как вам известно, его сиятельство в это не входят...

– Очень рад, очень рад, перебил г. Воскресенский, – я всегда рад, когда могу сделать доброе дело...

– Всем нам это очень хорошо известно... Мы это чувствуем, произнес буфетчик, переменив несколько свободный тон на почти-

тельный и даже расчувствованный.

В эту минуту из отдаленных комнат слышался звонок.

Буфетчик ухватился обеими руками за поднос и с торопливой заботливостью спросил, проходя мимо:

– Прикажете сейчас доложить?

– Пожалуй... впрочем, я не тороплюсь... Во всяком случае, я буду там в приемной, заключил г. Воскресенский, выходя из буфетной.

Минуту спустя он снова очутился у входа в белую залу. Отсюда открывалась целая перспектива парадных комнат, которые оканчивались приемной. Войдя в нее, он подошел к столу, на котором уже лежал его портфель и сверток, обернутый бумагой и припечатанный сургучом. Сорвав печати, г. Воскресенский выложил на стол деревянный резной сигарный ящик с застежками из кованого железа и еще дамский несессер, украшенный инкрустациями из цветного дерева. Не отдавая большого внимания этим предметам, он равнодушным взглядом окинул стены приемной и, заложив руку за фалды вицмундира, принялся медленно расхаживать по всей амфила-

де парадных комнат, обставленных тяжело-весною мебелью тридцатых годов; она была обита штофом разного цвета, согласно с цветом стен, Там, где не было ковров, паркет везде лоснился, отражая блеск окон и зеркал, расположенных в простенках.

Несмотря на смертную скуку, распространяемую этими комнатами, – скуку, которую не только не выкупали, но еще усиливали размеры архитектурных линий, высота стен и окон, пестрота больших казенных фарфоровых ваз в углах, массивные канделябры и часы на каминах, – они, тем не менее, производили внушительное действие; невольное чувство заставляло осматриваться, понижать голос и не стучать каблуками.

По привычке, вероятно, проходить эти залы, г. Воскресенский не ощущал, по-видимому, ничего подобного. Он, правда, не столько шагал, сколько скользил на мягких своих подошвах; плоские его ступни с выдающимися луковицами у большого пальца двигались смело, упирались в ковры и паркет с приметной самоуверенностью. Постарелый вид сапогов, вицмундир с истертым бархатным ворот-

ником, галстук, небрежно повязанный, подтверждали также его бесцеремонное отношение ко всему окружающему.

Если улыбка самодовольствия показывалась иногда на бледных губах его, если самый взгляд изменял обычному тусклому выражению, тут нет ничего удивительного. Он был здесь наедине с самим собою; ему, наконец, не к чему было стесняться, не зачем было себя насиловать: смиренный взгляд, мягкие движения, тихий голос давно уже сделали свое дело, давно упрочили ему известность человека, в высшей степени благонамеренного, снисходительного, услужливого, не считая репутации человека высокой нравственности и глубокого благочестия, приобретенной им в кругу знатных благотворительных старух, где он преимущественно вращался.

Общественное положение г. Воскресенского было делом рук его; он мог им не гордиться. Твердая поступь, равнодушие к окружающей обстановке, самодовольная улыбка выражали здесь сознание удовлетворенного тщеславия, уверенность достигнутой цели.

Приговор тщеславным людям так же вооб-

ще несправедлив, как приговор самому тщеславию, считающемуся предосудительным чувством. Здесь, как и везде, все основано на оттенках; отличие оттенков основывается в свою очередь, на руководящем двигателе, на поводе или мотиве, как теперь выражаются. Одним тщеславие помогает исполнять великие общественные задачи; другим служит орудием для достижения личных целей. Там, где первые прорываются ядром, вылетевшим из пушки, и пролетают со свистом большое пространство, другие тихо, незаметно проскользают и, как холера, действуют в более тесном горизонте. Но, во всяком случае, как там, так и здесь, требуется расход известной силы, требуется присутствие внутреннего подъема, излишек чего-то такого, что вообще не сплошь и рядом встречается в людях; нужен особый темперамент, нужно больше фосфора в костях, больше железа в крови. Против даров природы ничего не поделаешь. Они так могущественны, что, доставшись случайно посредственности, выдвигают ее часто скорее истинных способностей и даже таланта. В данном случае, посредственные люди дей-

ствуют почти одинаково. Наметив себе известную цель, они сначала бывают осмотрительны, как кошки, выносливы, как ломовая лошадь, терпеливы, как башмак, готовы подставлять спину под удары. Сила воли, направленная на одну точку, тем не менее, продолжает делать свое дело: она долбит и просверливает, не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Пробиваясь постепенно вглубь с тем же упорством, как червь точит дуб, они, чем дальше, тем меньше стесняются в способах действий, – в случае надобности, готовы вырезать бирюльки из костей родной матери. Наконец, дуб просверлен во всю длину, свет показался, – цель достигнута! Постоянная борьба против препятствий, необходимость пролезать сквозь гнилушки, встреча с другими червяками, которых надо было загрызть, чтобы прочистить себе дорогу, – все это, конечно, не прошло им даром, уходило их физически, часто износило до ворса; но, взамен этого, все это настолько же помогло им укрепиться духом, закалило в них настойчивость и усилило жадность, развило смелость и, вместе с нею, непреодолимое жела-

ние выместить на плечах других пройденные испытания. Дальнейшие действия зависят уже от личного характера. Одни, вооружившись внезапно дерзостью и нахальством, плотно врезают свои каблуки на ступеньках, по мере того, как выше восходят; другие продолжают подвигаться на замшевых подошвах, тщательно скрывая, под видом кротости, преданности и смирения, настоящие свои чувства. У первых самодовольство выражается явно, сияет в глазах и румянит щеки; у вторых оно проявляется едва заметно, в смиренной улыбке, мягких движениях, тихом, вкрадчивом голосе. Последние всегда опаснее; это те самые лица, о которых говорят обыкновенно: «не клади пальца в рот – откусит!»

Так как представился теперь удобный случай, не лишним было бы короче познакомить читателя с г. Воскресенским.

Он был из духовного звания. Благодаря сердобольной помещице того села, где жил его отец, он миновал семинарию и поступил в уездное училище. Учился он плохо; его, без сомнения, клали бы на скамью и секли каждую субботу, если б не выручали, с одной стороны, крайне тщедушный вид, но, главным образом, хорошие отметки в благонаравии. Этим почти и ограничиваются сведения о его детстве. Неизвестно даже, кончил ли он или нет курс ученья. Несомненно только, что девятнадцати лет он находился в провинции и пробивался своими средствами, переписывая по найму бумаги в канцелярии гражданского губернатора.

Губернатор был стар и брюзглив, детей не было, — супруга его тосковала. Подобно большей части тоскующих жен, губернаторша сначала ездила по монастырям, но вскоре утомилась и предпочла искать удовлетво-

ния на почве благотворительности; последнее, к тому же, выставляло ее на вид независимо от положения мужа, – чего страстно добиваются многие, даже счастливые жены, – и способствовало распространению ею популярности в губернии.

В рвении своем она редко обращала внимание на то, что беспрестанно отымала у мужа полезных деятелей его канцелярии; стоило определить кого-нибудь, – смотришь, он уже бегаёт по делам губернаторши. «Ты, душенька, опять лишила нас чуть ли не лучшего писца!.. Не помню, как его зовут, но только у него прекрасный почерк и правитель канцелярии весьма им дорожил»... – «А, знаю, – Воскресенский, бледный такой... Найдешь себе другого!.. Он мне очень нужен», – возразила, не стесняясь, губернаторша.

Воскресенский оказался действительно полезным. Не считая хорошего почерка, он отличался примерным усердием и аккуратностью. Куда бы ни шла губернаторша, он всегда был у нее на глазах; когда давались ему поручения, они исполнялись с точностью и быстротою, которые могли бы обратить на

него внимание самого Аракчеева. Вскоре открылись еще другие качества. Благодаря ему, губернаторша стала вдруг яснее видеть в делах благотворительности, руководимых ею: она узнала, где кроются злоупотребления, проведала о том, кто более или менее надежен, кого следовало удалить, кого оставить пока под присмотром. Воскресенский никогда, собственно, не наговаривал; смиренно держась в стороне, он ждал всегда настоятельных вопросов, видимо стеснялся тем, что должен был высказать; чаще всего он сожалел, старался даже оправдывать; в конце концов выходило так, однако ж, что лицо, о котором говорилось, всегда было кругом виновато. Он не замедлил выказать такую же деятельность при исполнении личных поручений по дому губернаторши и ей хозяйству: покупал, заказывал, чинил, подкрашивал и подклеивал, – словом, горазд был на все руки. Последнее невольно приблизило его к губернатору. Желая вознаградить чем-нибудь усердие молодого человека, он дал ему одно из тех мест, которое, обеспечивая его в материальном отношении, не мешало ему, вместе с

тем, заниматься жениными поручениями.

Мало-помалу Воскресенский, – которого больше звали теперь Иваном Иванычем, – сделался у губернатора чем-то в роде «домашнего человека». Способ этот переходить к частным поручениям начальника и здесь преимущественно выказывать преданность и усердие, сделался для Воскресенского правилом всей его жизни. Он с первых шагов понял, что такии способом всего успешнее проходят в люди. Откуда взялось вдруг тщеславие у бедного провинциального писаря? Где заразился он желанием выскочить из скромного своего положения? Отвечать на это так же трудно, как указать вообще на источник человеческих свойств и способностей; факт тот, что чем больше они прирождены у человека, тем всегда надежнее их развитие и, впоследствии, упорнее их действие.

«Дорогой друг, – неоднократно писала губернаторша брату, занимавшему в Петербурге важный административный пост, – мы только и слышим от вас жалобы: людей нет! Une vraie dissette!.. Охотно верим. В Петербурге их точно труднее найти; всему виною, ко-

нечно, испорченность нравов; но люди есть! Их только надо искать в глуши, в нашей доброй провинции, сохранившей пока еще – Dieu merci! – свои чистые патриархальные предания. Мы уже не раз писали тебе, что на этот счет не может жаловаться; между прочим, мы нашли истинно драгоценного человека, – une perle! Способности, усердие, честность, преданность – rien pu manque!»

Бывая в Петербурге, губернаторша расхваливала всякий раз своего protege с таким увлечением, что брат полюбопытствовал, наконец, взглянуть на «сокровище». Особенно-го желания у него не было; оно вырвалось вскользь, мимоходом, скорее чтобы сделать удовольствие сестре. Но этого уже было достаточно. Месяц спустя, Воскресенский явился в Петербург к сановнику с письмом от сестры и зятя.

Сановник был несколько озадачен неожиданным появлением «сокровища». Он совершенно забыл о его существовании и в первое время решительно не знал, что с ним делать и куда его деть.

На каждое открывшееся место были десят-

ки кандидатов, не считая тех, о ком настоятельно просили лица, которые отказать не только было трудно, но самому не было расчета. В Петербурге оставалось тогда одно свободное место: Исаакиевская площадь, но и ту уже думали занять садом. В желании скорее угодить сестре, сановник поспешил отрекомендовать «сокровище» одной знатной даме, игравшей в Петербурге ту же роль по части благотворительности, какую сестра его забавлялась в провинции.

Ивану Иванычу на роду, видно, было написано испытывать покровительство прекрасного пола. Он сам, впрочем, охотнее склонялся в эту сторону; здесь почва была мягче и легче было ее обрабатывать.

Он и здесь точно так же успел вскоре показать себя и сделаться необходимым. Подходы были все те же: смирение и преданность; к ним присоединилась еще практичность, бывшая у него в зародыше; но Петербург ее спрыснул и она развилась с замечательной быстротою.

До появления Воскресенского, приюты, дешевые столовые, благотворительные лоте-

реи, богадельни и комитеты, находившиеся под покровительством знатной дамы, шли из рук вон плохо. Горе заключалось не в недостатке деятелей: их было сколько угодно; все дамы, имевшие повод быть недовольными мужьями, осиротевшие вдовы, застарелые тоскующие девицы, все наперерыв стремились помогать общеплезному и благотворительному делу; к ним примыкал целый легион живой, восприимчивой молодежи: но, сколько мог заметить Иван Иваныч, женский пол больше суетился и путал, молодые люди больше искали случая зацепить крестик или украсить камер-юнкерским мундиром. «C'est desperant!!» – повторяла знатная дама, признаваясь, что начинает уже, наконец, падать духом.

Дух этот восстановил Воскресенский, указав ей, смиренно и без шума, на злоупотребления и способы их исправить. Без малейшего намека с его стороны, но по самому ходу дела и для выгоды последнего, знатная дама нашла необходимым сделать, как говорится, положение своему помощнику, то есть определила его на службу и выхлопотала ему теп-

лое место. Она не ошиблась в расчете. Желая доказать свою признательность, Воскресенский явился к ней с проектом о дозволении носить красные панталоны лицам купеческого звания в обмен за пособия[1] в пользу общества, имевшего целью распространение нравственных правил в низменных классах петербургского населения и преимущественно между ломовыми извозчиками.

Проект не был приведен в исполнение. Он давал действительно такие выгоды и преимущества, которые легко могли подорвать существование множества других благотворительных и общепользных учреждений. Председательницы самых враждебных лагерей, на этот раз, соединились и единодушно восстали. Каждая, тем не менее, как только прошла буря, поспешила сблизиться с составителем знаменитого проекта. Он сделался вскоре между дамами предметом зависти; каждая старалась притянуть его на свою сторону. Угождая всем, по мере возможности, он, в то же время, старался быть полезным на службе. Чины и кресты шли своим чередом; он добивался того и другого, но служба собственно не

составляла прямой его цели: она была только средством для приобретения известного положения; последнее было необходимо, потому что давало возможность существеннее приносить пользу влиятельным благотворительницам, которые, в свою очередь, существенно помогали делать карьеру. В дамских кружках популярность Ивана Иваныча росла с каждым годом. Никакое новое общество, – если только оно возникало под знаменем милосердия, пользы и добра ближнему, – не могло обойтись без Воскресенского; участие его служило гарантией процветанию. Многие общества возникли потому только, что основная мысль, проект и, наконец, самый устав принадлежали Ивану Иванычу.

Всем было, например, очень хорошо известно, что баронессе Бук, трудившейся специально над устройством карьеры бесчисленных ее родственников и занимавшейся благотворительностью только для удобства светских сношений, никогда не удалось бы устроить общество для снабжения дешевыми игрушками детей болгарских семейств, лишившихся родителей во время последней войны,

если б такой мысли не внушил ей Иван Иваныч и не нашел денег для приведения ее в исполнение. Никогда княгине Зинзивеевой не устроить бы комиссии для предварительных мер против распространения золотухи и родимчика между детьми бедного сельского населения, если б не придумал этого Воскресенский и также не нашел для этого денег.

Деньги доставлялись жертвователями; но жертвователей доставлял Иван Иваныч, и, в этом отношении, ему уже положительно цены не было. Всем известно, с какой трудностью достаются деньги; легче, кажется, взять пучок пуху и перекинуть его через большую реку, чем заставить кого-нибудь добровольно вынуть бумажник и – здорово живешь – предложить крупный куш. В этом Иван Иваныч не встречал, по-видимому, большого затруднения. Жертвователи как бы сами собою к нему напрашивались.

Нельзя сказать, чтобы он обладал выдающимся красноречием. Когда он говорил в комитетах, половины его речи обыкновенно не было слышно; другая половина не представляла ничего особенно Цицероновского; чаще

всего было смертельно скучно. Когда же он говорил с кем-нибудь из нужных ему людей с глазу на глаз, выходили совсем другие результаты; он точно владел тогда чарующей силой убедительности. По мере того, как он подвигался на служебном поприще и, с другой стороны, росло его влияние в дамских комитетах и на поприще благотворительности, число жертвователей заметно возрастало. К нему постепенно стали являться купцы всех разрядов, промышленники, деятели всякого рода, даже банкиры, — словом, все те, кто, не довольствуясь иметь деньги, искал еще чего-нибудь из благ земных.

Здесь, кстати, надо заметить, что Иван Иваныч сам по себе был бескорыстен. Руководителем его сближений с богатыми людьми, бесцеремонным обиранием у них денег, служила только тщеславная цель возвышения и проникновения путем благотворительности, общественной пользы, добрых намерений, любви к человечеству. У него, как у всякого истинного мастера, вскоре, образовались ученики; из них возникла целая школа новых деятелей, нередко злоупотреблявших своим по-

ложением. Сам же Иван Иванович оставался с этой стороны безупречным. Он довольствовался своим жалованьем и жил весьма скромно. Но самое это бескорыстие незаметно помогало ему приближаться к намеченной цели; оно трогало женские сердца, увеличивало число поклонников и всем им служило оружием для защиты Ивана Ивановича против врагов и завистников.

Начальство Воскресенского посматривало иногда недоброжелательно на его успехи.

– Воля ваша, Воскресенский слишком уже, кажется, злоупотребляет вашей снисходительностью! говорили начальнику, – день-деньской трется между юбками и не выходит из дамских благотворительных заседаний и комитетов...

– Что ж делать?

– Как что? Нельзя же, в самом деле, слушать и, в то же время, заниматься десятками дел, не имеющих никакого отношения к служебным обязанностям: положим, ему там выгоднее; его гложет тщеславие, он ищет популярности и находит ее... но это не резон. Вопрос так ставится: «Любишь, душенька, полу-

чать жалованье и казенную квартиру?» – «Люблю!» – «В таком случае одно из двух: выбирай службу или благотворительность!..»

– Но он мне нужен, возражал начальник.

– В чем же?

– Находчив! ворчливо заключал начальник, вертясь на своем кресле и как бы желая от него оторваться, но не имея на это силы.

И он был прав. В критические моменты не раз выручала его находчивость Воскресенского. В целом министерстве не было человека, более способного отыскать с такою быстротою какую угодно справку, сочинить за один присест докладную записку о чем угодно и кому угодно, и, наконец, если б вздумалось кому-нибудь существенно придраться к Ивану Иванычу и пожелать сдвинуть его с места, теперь не так уже легко было это сделать.

С одной стороны, пришлось бы поднять на ноги чуть ли не половину женского населения столицы, с другой – пришлось бы воевать с графиней Можайской, которая, сама по себе, опаснее была всех остальных. С некоторых пор она явно покровительствовала Ивану Иванычу. Покровительство выразилось тем,

что Воскресенский вскоре оставил занимаемое им место и нашел другое, более видное, под начальством брата графини.

Он был представлен графине в начале своей благотворительной деятельности, вскоре после шума, наделанного проектом *о красных панталонах*. Графиня остановила на нем проницательные глаза и сказала: «Прекрасно; смотрите, только не пересаливайте!»... Слова эти врезались ему в память; он, в самом деле, стал с тех пор осторожнее. Ближайшему знакомству помогли, – как было в его молодости при губернаторше, – услуги, доказавшие графине его преданность.

Графиня осталась в девушках и пережила свою шестидесятилетнюю весну. В женском персонале знатного общества не было существа более своеобразного; избегая лиц своего пола, она исключительно почти вращалась в кругу мужчин, выбирая тех, кто был умнее и сильнее. Не стесняясь никаким положением, она каждому резко и смело высказывала в глаза всю правду; ее слушали, потому что каждый за себя опасался. К резкости ума присоединялась проницательность, часто прино-

сившая пользу тому, кто умел ей понравиться. Крайне деспотическая и тщеславная, она, в то же время, презирала интригу, и, в общей сложности, в ней было больше склонности к добру, чем могло казаться с первого взгляда. Но добро, которое она могла делать с ее состоянием, мало-по-малу стало ограничиваться советами и пожеланиями; с годами в ней развилась скупость и страсть к деньгам. Слыша неоднократно от баронессы Бук, насколько Воскресенский распространен был в кругу денежных людей и сам был сведущ в финансовых операциях, графиня пожелала короче с ним познакомиться. Две-три удачные покупки и перепродажи ценных бумаг приобрели ему ее расположение. Со свойственной ему осторожностью, он, надо заметить, никогда лично не действовал; он обращался к тем, кто был надежнее и ловчее, шептал только на ухо, для кого предстояло действовать, и дело всегда увенчивалось успехом. Так постепенно вошел он в доверие графини и под конец сделался ее советчиком.

Случай окончательно помог ему в этом.

Графиня уезжала за границу заказывать

приданое для племянницы. Накануне отъезда она пригласила Ивана Иваныча.

– У меня к вам просьба...

– Приказывайте, ваше сиятельство, наклоня голову и смиренно опуская глаза, проговорил Иван Иваныч.

– Вы знаете, я завтра уезжаю; у меня накопилось двадцать восемь тысяч; я не хотела бы брать их с собою: опасно и, притом, если возьму, непременно истрачу... Мы, женщины, только это и умеем делать...

«Знаю, голубушка, как ты это умеешь; меня еще, пожалуй, научишь»... подумал Воскресенский, продолжая сохранять почтительную позу.

– Прошу вас, Иван Иваныч, возьмите от меня эти деньги и сберегите их до моего возвращения... или сделайте из них что-нибудь...

– До глубины души тронут доверием вашего сиятельства, но не скрою от вас; вы изволите возлагать на меня трудную обязанность... Чужие деньги... это... это... И вообще... продолжал Воскресенский, принимая строго озабоченный вид, – вообще денежные дела у нас теперь так шатки, так неверны... биржа в по-

стоянном колебании...

– Все это может быть, только, вы знаете, я не люблю отказов...

– Если вы непременно этого желаете... не смею противиться...

Воскресенский принял пакет, сосчитал деньги и, уложив их в карман, явился на другой день провожать графиню.

Но графиня перед отъездом рассчитала расходные свои деньги до такой степени в обрез, что, спустя две недели, принуждена была написать Воскресенскому о высылке еще трех тысяч. За этим письмом Воскресенский получил другое, с таким же требованием.

Возвратясь в Петербург уже к осени, графиня немедленно попросила к себе Воскресенского.

– Мне совестно смотреть на вас, Иван Иванович, сказала она, пристально, тем не менее, глазами авгура посматривая на собеседника, казавшегося печальным и расстроенным, – право, совестно... Я, впрочем, говорила вам: мы, женщины, умеем только мотать... И уж этот Париж! Это просто ужасно!..

– Да, графиня, да... это ужасно, произнес

Иван Иванович с выражением сосредоточенной грусти.

– Не тяните, пожалуйста, говорите прямо: что вы сделали?

– Немного, графиня... я едва...

– Я это предчувствовала! перебила графиня, сдвигая брови.

– Я имел честь докладывать вам перед отъездом о том, как вообще шатки наши денежные дела, как мало можно теперь полагаться на биржу...

– Ах, как тянет, как тянет! воскликнула графиня, судорожно перебирая сухими пальцами. – Ну!..

Воскресенский поднял глаза, едва приметно улыбнулся и произнес, подавая пакет:

– Здесь все, что удалось мне сохранить и сделать из ваших денег...

В пакете оказалось тридцать одна тысяча.

С этого дня к Воскресенскому перешло управление по всем делам не только графини, но и графа.

Последнее было легче, так как граф, в противоположность сестре, меньше жил на земле, чем витал на высотах, куда занесли его от-

части особенные обстоятельства, отчасти куда он сам себя вознес, искренно веруя в величие своего призвания. Чем очевиднее доказывала служебная карьера, что граф, получив в наследство от матери ее доброе сердце и мягкий нрав, не наследовал, вместе с тем, от отца его блестящих способностей, тем упорнее было его стремление к разрешению высших вопросов, клонившихся ко благу отечества и преуспеянию его сил извне и во внутреннем строе.

Не проходило года без того, чтоб граф не подавал какого-нибудь проекта, имевшего ближайшею целью спасти ту или другую часть государства. Но потому ли, что в проектах приводились по большей части идеальные мысли, не отвечавшие сухим условиям практического века, потому ли, что в самом способе изложения мыслей заключалось меньше ясности, чем красоты слога, проекты графа оставались без всякого применения и всегда складывались в архив.

Ошибочно было бы думать, что лица, пользующиеся высоким почетом в свете, пользуются тем же почетом в кругу служебных дея-

телей; им здесь точно так же кланяются и выказывают знаки внимания, но только до той минуты, пока они не начнут излагать своих соображений; как только дело доходить до соображений, почтительное выражение на лицах мгновенно сменяется тоскою и унынием, взгляд слушателя становится рассеянным и начинает как бы искать чего-то на стороне; на губах появляется та же снисходительная улыбка, с какою прислушиваются обыкновенно к невинному детскому лепету, Словом, положение здесь совсем не то, что в свете.

Странно было то также, что умственный взор графа, задумчиво всегда устремлявшийся к дальнейшим горизонтам, приводил его чаще всего к самым мелочным вопросам жизни. Ум у него был изобретательный, но свойства ума приводили к изобретениям, которые начинались всегда как-то с хвоста, доходили до туловища и никогда не кончались головою; они никогда не стояли плотно на ногах, но больше ходили на руках, а ноги были кверху; в основе преобладала всегда добрая мысль, но ее всегда портил оттенок чего-то недоделанного и детского. Вдруг неожиданно

возникла мысль: — облегчить тяжесть ломовых лошадей или содействовать к уничтожению тараканов и клопов в избах бедных поселян. Он сам очень хорошо сознавал, что все это была мелочь; но серьезные его предложения не встречали сочувствия и не принимались; ум, между тем, постоянно возбуждавшийся желанием добра и пользы отечеству, настоятельно требовал деятельности.

В этот самый период разочарования, Воскресенский особенно пришелся по вкусу графа. Не прошло года, граф сидел в благотворительности, как птица сидит в клетке. Он нашел в ней утешения, которых тщетно искал в государственной службе; она открыла перед ним новые горизонты, давала новую пищу не только голове, но и сердцу. В тот же год основано было несколько новых комиссий для различного рода содействий и развития. Покровительство графа вскоре распространилось и на другие общепользные благотворительные учреждения, школы, училища, богадельни. Дамы покровительницы и председательницы, подстрекаемые Иваном Ивановичем, всюду встречали графа с распростерты-

ми объятиями. Портрет его, изданный по подписке между служащими, которым Воскресенский шепнул на ухо, не замедлил украсить на видном месте стены множества заведений. Граф был, наконец, оценен и, главное, понят. В усердии своем он, прежде всего, обратил зоркий взор на экономов; им в первое время житья не стало. Граф неожиданно налетал во время обеда, и Боже сохрани, если сиротская каша отзывалась тухлым! «Вон, сейчас вон! Вон без рассуждений!» Взамен этого он не знал, как обласкать и куда посадить великодушных людей, являвшихся к нему с пожертвованиями на общественную пользу. Он награждал их широкою рукой, охотно, всегда удовлетворяя их просьбам, которые подносились обыкновенно Воскресенским при докладе.

Увлечение графа в пользу благотворительности не приносило малейшего вреда административной машине, находившейся под его управлением. Дела шли своим чередом. Машина, заведенная его предшественником, продолжала неустанно работать, выпуская ежедневно сотни нумеров бумаги, исписан-

ной самым отборным почерком. С этой стороны граф был совершенно покоен. Его несравненно больше озабочивал новый проект. Инициатива проекта принадлежала Ивану Ивановичу, но обработка деталей всецело принадлежала графу. Уже само название: «О всеобщем, всестороннем распространении благотворительности в Российском государстве», достаточно указывало на важность проекта.

Суть его заключалась в устройстве обширного центрального образцового учреждения, управлению которого должны были подчиниться все общепользные и благотворительные общества не только обеих столиц, но самых отдаленных углов провинции. Центром учреждения был образцовый приют для взрослых и малолетних неимущего населения. Вокруг группировались три разряда школ и мастерских по степеням возраста, музей для образования изящного вкуса, склад и магазины для сбыта предметов производства, но с тем, чтобы выручаемые деньги шли частью на покрытие расходов, частью служили основанием эмеритальной кассы для тех

из воспитанников, которые выкажут особое благонравие. В нижнем этаже помещались службы, кухня, столовая и склад для белья и одежды; один из флигелей второго этажа на солнечной стороне предназначался для приема грудных детей и кормилиц, другой для классных комнат и спален мужского детского отделения. Средний двор предполагалось покрыть стеклянным куполом для защиты детей и их воспитателей от дурной погоды во всякое время года. Здесь устраивался детский сад, имевший двоякую цель: в середине помещались все новейшие приспособления, игры, гимнастика, содействующие физическому развитию; по стенам развешивались картины и печатные правила такого содержания, которое непосредственно должно было улучшать нравственные чувства питомцев. Угол здания оканчивался церковью и помещением для причта; противоположный угол отдавался канцелярии; рядом была зала совета. Отсюда уже «живительными благотворительными лучами», — так сказано было в проекте, — должны были расходиться во все стороны распоряжения и предписания, которыми

предполагалось руководить действиями всех остальных благотворительных обществ империи.

Расход по исполнению проекта отвечал величавости его размеров. Но деньги стали являться как бы волшебству. Особенно великодушно выказали себя в настоящем случае купцы хлебородных губерний, сибиряки и евреи. Между последними нашлись такие, которые не удовольствовались единовременным вкладом, но обязались еще поддерживать новое учреждение ежегодными взносами. Один купец, обращавшийся письменно к Ивану Ивановичу по какому-то делу, сразу пожертвовал пятьдесят тысяч.

Иван Иванович, знавший по опыту, что всякое чувство, – не включая великодушия, – требует для своего проявления известной степени возбуждения, исподволь подготавливал для таких случаев особых специалистов. В числе их, как самый способный, считался некто Блинов, человек, мелкого купеческого состояния, но с юности одержимый страстью к вицмундирной форме, чиnam и знакам отличия. Поощряя Блинова, выводя его в люди,

Иван Иванович не столько вознаграждал его заслуги, сколько воодушевлялся желанием выставить Блинова, как живой пример того, куда может привести истинное усердие человека простого знания. Появление Блинова в кругу купечества производило магическое действие. Стоило ему, по методу Ивана Ивановича, отвести в сторону любого, шепнуть несколько слов, смотришь: там, где ничем в мире нельзя было выманить алтына, тысячи вылетали, как стая испуганных воробьев. Искусство Блинова часто приводило к тому, что купец жертвует, да еще в придачу задаст за свой счет роскошный завтрак или обед при открытии учреждения, или соберет подписку для поднесения ему же, Блинову, ценного подарка или жетона с его шифром, выведенным брильянтами. Раз даже жертвователями предложена была стипендия имени Блинова. Словом, денег нашлось в достаточном количестве. Город, — великодушный, как всегда, когда умеют подойти к нему близко, начав издалека, на что Иван Иванович был такой мастер, — пожертвовал с своей стороны землю на Выборгской.

Затем образовались два совета: один – *строительный*, другой – *наблюдательно-административный*, уже под председательством графа.

В скором времени последовала закладка, сопровождавшаяся, как водится, завтраком, на котором сказано было несколько коротких, но глубоко-прочувствованных речей.

Благодаря неусыпной деятельности Ивана Иваныча, которому, во всем этом, как сам он говорил, ничего не нужно было, «кроме того, чтобы удостоиться быть выбранным в церковные старосты», здание через год стояло уже под крышей. Спустя еще год, оно было совершенно готово. Оставалось только покончить с украшениями церкви; они, главным образом, и задерживали открытие. Но в этом нельзя было винить Воскресенского. Вина всецело падала на архитектора, человека прекрасного во всех отношениях, но, к сожалению, старого и, притом, задавшегося несчастной мыслью выстроить церковь в греко-византийском стиле, требовавшем весьма кропотливой детальной раскраски.

Переговорить об этом обстоятельстве име-

лось, между прочим, в виду у Ивана Иваныча, когда он утром ехал к графу с докладом.

— Ваше превосходительство, его сиятельство просят вас пожаловать в уборную! почтительно проговорил камердинер, отворяя обе половинки двери в кабинет графа.

Воскресенский взял без торопливости со стола портфель и сигарный ящик и направился через кабинет к маленькой лакированной двери; она провела его в просторную комнату, обитую ситцем, на образец палатки; мягкий синий ковер покрывал пол; свет в нижней части окон смягчался голубою тафтою; большие складные ширмы, обитые тем же ситцем, как стены и потолок, заслоняли кровать и туалетные принадлежности, распускаявшие запах одеколona.

В больших стеганых креслах, перед столом с знакомым чайным прибором, сидел граф. Ему было шестьдесят лет, но он прекрасно еще сохранился; статный, свежий, в высшей степени представительный, он в молодости осуществлял тип красавца-мужчины. Лучшим украшением его круглого, гладко выбритого лица была, однако же, бесспорно, его доб-

рая, сияющая улыбка; она справедливо заслужила ему прозвище *именинника*. Граф не мог только сохранить волос; они заменялись черным париком, приправленным на старый фасон с завитками у висков и хохликом на маковке. Граф был в белом галстуке, едва отделявшемся на его белой полной шее, и в длинном до пят коричневом сюртуке, представлявшем нечто среднее между пальто и халатом.

– Здравствуйте, Иван Иванович! Какая сегодня погода?

В прежнее время Иван Иваныч непременно бы ответил: «Какая будет угодна вашему сиятельству», но теперь сказал только, что погода прекрасная.

– Садитесь, проговорил граф, пожимая кончик руки Воскресенского двумя потными белыми пальцами с короткими квадратными ногтями.

При всем доверии и уважении к вошедшему, граф никогда не мог преодолеть себя и жать полную ладонью руку Воскресенского; влажная и холодная во всякое время, она действительно делала такое впечатление, как

будто в ладонь вскакивала лягушка.

– Что это у вас? спросил граф, указывая глазами на сигарный ящик.

– Дети старшего отделения сиротского приюта просят ваше сиятельство осчастливить их принятием их посильного труда, произнес Воскресенский, улыбаясь невинности детской затеи. – Представить себе нельзя, с каким усердием, с каким увлечением они работали!

– Неужели они сами это сделали? сказал граф, рассматривая ящик.

– Сани, ваше сиятельство; сами составили рисунок, сами резали, сами выпиливали шарниры, сами делали замок...

– Искусно! проговорил граф, – даже стиль есть...

– Самая затея, самая мысль преподнести их труд вашему сиятельству принадлежит им...

– Ну, уж признайтесь, мысль вы подали...

– Могу уверить вас...

– Не отказывайтесь, знаю, что вы!..

Несмотря на мягкость нрава, граф, надо заметить, был сильно упрям, – свойство, которому он присвоил значение твердости харак-

тера, – в чем не отличался, впрочем, от множества смертных, обманывающих себя точно так же, принимая синицу за ястреба.

Увидев толстый портфель в руках Воскресенского, граф произнес с испуганным видом: «уф!» – и погрузился в глубину кресла. Иван Иваныч поспешил его успокоить, сказав, что так как сегодня приемный день, он ни за что бы не решился обременять графа особенно трудным докладом; он умышленно явился рано, с тем, чтобы облегчить графу, насколько возможно, хлопотливое утро. Ему необходимо было, однако же, воспользоваться свободным временем, чтобы поговорить насчет постройки *образцового центрального приюта*.

– Да, да. Ну, что, как там у нас идет? Двигается ли, наконец? спросил граф, снова оживляясь и озабоченно надвигая брови.

– Все идет прекрасно, ваше сиятельство, одно задерживает: церковь! Зиновьев вполне прекрасный человек... даже с талантом... Одна беда с пим: крайне копотлив! Затеял тогда этот византийский стиль...

– Не говорите; стиль этот прекрасен для православного храма!

– Чего же лучше, ваше сиятельство! воскликнул Иван Иваныч, – только с ним соединяется множество украшений. Позолота и раскраска требуют много времени... К тому же, прибавил он вкрадчиво, – надо взять в расчет лета Зиновьева...

– Лета не мешают делу, перебил граф. – Скажите ему, чтоб он ко мне явился.

– Я уже предупредил его; он сегодня будет у нашего сиятельства.

– Надо, однако же, почтеннейший Иван Иванович... надо об этом серьезно подумать... Так невозможно!..

– Очень затруднительно, ваше сиятельство, – сказал Воскресенский, делая безнадежный жест.

– Затруднений не должно быть в таком важном деле! оживляясь, заговорил граф. – Я очень ценю Зиновьева; жаль было бы его лишиться: почтенный человек! Много трудился, много работал! Надо будет как-нибудь его урезонить, уговорить... Можно будет, наконец, дать ему помощников... Это лучше всего!.. Есть ли у вас кто-нибудь на примете, Иван Иваныч?

При таком вопросе Воскресенский только улыбнулся.

– Стоить только пожелать вашему сиятельству... – проговорил он с видом покорности.

Граф покачал головою.

– У вас есть еще что-нибудь? – спросил он, как только Иван Иваныч снова взялся за портфель.

– Да; я хотел представить вам небольшую докладную записку насчет молодого графа...

– Ах, да, ну что, как он теперь? Занимается ли у вас сколько-нибудь?

Дело шло о единственном сыне графа, пятнадцатилетнем юноше, посланном отцу в наказание за неведомые прегрешения.

Со дня его рождения, причинившего кончину матери, до десятилетнего возраста, ребенок беспокоил отца нескончаемыми болезнями, несмотря на тщательный уход швейцарских и английских бонн и нянюшек. С десятилетнего возраста, когда пришлось отдать графчика в мужские руки, гувернеры не переставали надоедать графу сообщениями о том, что сын его имеет положительное отвращение к занятиям; виною всему, но их мнению,

было болезненное детство, остановившее нормальное развитие умственных способностей. Приискан был немец, патентованный педагог. Мальчику минул тогда пятнадцатый год, и он начал как будто подавать надежды. Раз как-то, проспав позже обыкновенного, педагог нигде не мог найти своего воспитанника. Он был осторожен и не поднял тревоги; испуг его превратился в негодование, когда воспитанник, возвратясь уже к обеду, спокойно объявил, что воспользовался его сном, чтобы съездить на скачки вместе с двоюродными братьями. Графчик прибавил, что если педагог пожалуется отцу, песня его будет спета – ему откажут; если же он согласится дать ему полную свободу действий, молодой человек обещал показать такие чудеса прилежания, после которых для отца и тетки сделается обязательным устроить карьеру педагога. Наставник вспыхнул и на другой же день отказался от должности.

Граф-отец, поглощенный своими проектами, принужденный проводить дни в комитетах, комиссиях и совещаниях, положительно не имел времени заниматься сыном. Ему не

раз случалось подниматься в спальню молодого графа и крестить ряд подушек, прикрытых одеялом, в то время, как тот, который должен был лежать в постели, находился за тридевять земель от своего ложа. Граф-отец очнулся настоящим образом тогда только, когда пришлось платить за сына первый долг. Следуя совету сестры, он определил его в службу; но и здесь опять ничего не вышло. Графчик успел уже попасть в тот заколдованный круг золотой молодежи, география которого известна: к северу ресторан Дюссо; к югу ресторан Бореля; к западу Большой театр и балет; к востоку загородный ресторан Дорога с кокотками и цыганками. Служба была здесь другого рода, также, по-видимому, не легкая. Доказательством могла служить заблаговременно истощенная фигурка графчика; когда он стоял на ногах, казалось всегда, что он держится только на одних панталонах; особенно поражало лицо его, состоявшее из мелких незаметных черт, покрытых зеленоватой бледностью и морщинками, как у ребенка, одержимого собачьей старостью. Лицо это окончательно принимало жалкий вид, когда

графчик входил здороваться с тетушкой, встречавшей его всегда одним и тем же вопросом: «Здоровы ли твои коготки?» Слова эти повергали всегда юношу в крайнее смущение.

Решительно уже не зная, что делать с сыном, граф-отец решился переговорить с Воскресенским, как человеком вполне преданным, верным и притом практическим. Иван Иваныч предложил перенести молодого человека на службу в другой департамент и под личное его наблюдение. Он ни в чем не ручался, но обещал приложить старание и надеялся.

Вот об этом-то молодом человеке пришлось теперь вести речь.

– Признаюсь, всякий раз, как дело касается моего сына, я могу вам откровенно сказать: мною невольно овладевает беспокойство, – произнес граф.

– Молод еще, ваше сиятельство, молод! В этом вся беда, смею вас уверить. Молодому человеку, прежде всего, следует дать занятие, которое было бы ему сочувственно.

– Я сам так думал. Вы прекрасно это сказа-

ли, Иван Иваныч; именно: сочувственно!

– Я придумал назначение для молодого графа...

– Ба! – радостно воскликнул граф.

– Если вам угодно будет выслушать эту докладную записку...

– Очень рад, мой милый, очень рад.

Граф скрестил свои белые пальцы и уложил руки на грудь.

Иван Иваныч кашлянул в свою мокрую ладонь и прочел внушительным голосом: «С присоединением кавказских областей к общему строю Российского государства, ежедневно открываются в этом крае новые неисчислимыя природныя богатства. В числе таковых нельзя упускать из вида обширных лесов пробкового дерева, драгоценного особенно в том отношении, что оно произрастает в стране виноделия, встречающей главное препятствие для перевоза вина в Россию – в недостатке пробки. Развивая у себя дома эту полезную отрасль и тем способствуя кавказским виноделам сбывать вина во все части государства, достигаются две цели: 1) сокращается крайне убыточный расход местных

производителей, вынужденных затрачивать значительные суммы для добывания пробки из-за границы; 2) возможность наложить тогда усиленный тариф на ввоз заграничной пробки и тем усилить государственные доходы. Посему полезно было бы, для начала, командировать доверенное лицо, хотя бы на юг Франции, специально с целью изучения на месте пробочного производства и, по доставлении им необходимых о том сведений, командировать его, снабдив надлежащими инструкциями, на Кавказ, для водворения уже в этой части России новой, столь полезной отрасли...»

– И вы думаете послать сына? – спросил удивленный граф.

– Всенепременно, ваше сиятельство, если только вам угодно будет на это согласиться, прибавил скромно Иван Иванович.

– И вы полагаете, он будет способен?

– Не сомневаюсь. Молодому графу будут даны всевозможные инструкции и указания. Ручаюсь вам, такая поездка будет ему столько же полезна в нравственном, сколько в умственном отношении; молодой человек осве-

жится, проветрится; она разовьет в нем сознани труда и пользы,

– Мысль прекрасная, – рассеянно проговорил граф. – Действительно, куда ни посмотришь, у нас везде непочатый край! Тот грек... как бишь его?.. забыл его имя... правду сказал: стоит только у нас плюнуть на землю, чтобы выросла пальма... Что же касается сына, подхватил он, – мне приходит такая мысль: не повредит ли эта поездка, – если только она состоится, – не повредит ли она другому кому-нибудь? Обдумайте это хорошенько: другой, может быть, был бы полезнее...

– Другого мы можем потом послать на Кавказ уже для водворения производства, возразил, всегда находчивый, Иван Иванович. – Наконец, ваше сиятельство, у меня все это уже обдумано... У меня нет праздных молодых людей: каждый при своем деле.

– Хорошо, мы об этом еще поговорим; надо подумать. Куда же вы, Иван Иванович? подхватил он, увидя, что собеседник приподымается с места. – Разве у вас есть еще какое-нибудь дело?

– Ничего особенного, ваше сиятельство, в

настоящую минуту. До приема я хотел только зайти к графине. После сейчас же надо будет отправиться к купцу Галкину; огромное состояние; надо захватить, пока еще не скончался...

– Как так?

– Говорят, умирает; лучшее время для пожертвования; невозможно упустить случая...

Граф не возражал, зная, насколько практичность Ивана Ивановича была плодотворна для целей добра и пользы.

После его ухода он долго еще сидел в кресле и попеременно то задумывался, когда вспоминал о сыне, то снова начинал улыбаться, когда припоминал о новых природных богатствах, открывавшихся на почве отечества.

IV

Иван Иваныч, между тем, направлялся на половину графини. Он на секунду остановился только в приемной, чтобы захватить мозаический рабочий несессер.

Лакей, дежуривший у двери графини, сказал ему, что графиня не одна; к ней только что приехала г-жа Шилохвостова.

Сделав нетерпеливый жест, Иван Иваныч передал несессер лакею, прося сохранить до отъезда гостыи, и велел доложить о себе. Минуту спустя, его просили войти.

Наружность графини невольно останавливала внимание. Лицо ее, смуглое, как у цыганки, освещалось блеском маленьких черных глаз, бросавших искры из-под густых, черных, как смоль, бровей. Ни одной сединки не было в ее волосах, круто зачесанных и прикрытых оренбургской косынкой; длинная, как доска, и такая же почти плоская, как доска, со стороны спины и груди, она держалась прямо, как стрела, готовая тотчас сорваться с тетивы и вылетать. Маленькая ее головка гордо поворачивалась на длинной

крученной шее, по которой проходили синеватые вены. Ее смелый, энергический вид не даром внушал беспокойство тем, кто к ней приближался.

Иван Иваныч застал ее сидевшею на диване с вязаньем в руках; спицы судорожно двигались между ее пальцами, такими же сухими, как у отшельника.

Беспорядок на большом столе, перед диваном, свидетельствовал, что здесь точно так же всем управляли нетерпеливые, судорожные движения. Ворохи бумаг с надписью: *отчет и доклад*, клубки с шерстью, брошюры и книжки духовного содержания, свертки разной величины, просфоры, планы часовен, номера газеты: *Душеспасительный Вестник*, *Правила нравственности*, издаваемые с некоторых пор для народа под руководством Воскресенского, – все это хаотически перепутывалось, оставляя только в середине небольшое место для чернильницы и письменных принадлежностей.

Наискосок, в креслах, сидела дама коротенького вида, но такого объема в ширину, что одна только часть ее тела умещалась на

стуле; другая часть поневоле должна была оставаться на отвесе. Госпожа Шилохвостова была в лиловом платье и шляпе такого же цвета, украшенной расплюснутой птицей. Под шляпкой выставлялись крутые калмыцкие щеки, коротенькое острое раздвоенного на конце носа и выше выскакивали два зрачка, в которых подвижность усиливалась каким-то пожирающим выражением. Лицо было сильно набелено, щеки и губы подкрашены, брови подведены, от шеи и ушей сыпалась пудра.

При виде Ивана Иваныча, графиня кивнула головою и указала на стул. Госпожа Шилохвостова ограничилась легким наклоном шляпки.

— Мое почтение-с, холодно проговорил он, умышленно делая ударение на последнем звуке.

Воскресенский основательно не долюбил г-жу Шилохвостову и справедливо называл ее *занозой*. Она поминутно становилась ему поперек дороги; одержимая бесом юркости, она просовывала кончик носа всюду, где ее не спрашивали, пролезала во все благоотво-

рительные комитеты, сплетничала, интриговала, отбивала жертвователей, вербовала в свой кружок подчиненных мужа, заставляла их ездить к купцам и явно протезировала тем из них, кто чаще доставлял ей случай хвастать собранными ею деньгами в пользу вдов и сирот. Неизвестно, какая мысль руководила госпожой Шилохвостовой, но в последнее время графиня сделалась целью ее ухищрений. Иван Иванович насторожил внимание; он знал, что к графине не так-то легко было подойти; но, с другой стороны, графиня имела также свои причуды: несмотря на ее ум, она была чувствительна к лести, тщеславна, способна к увлечениям всякого рода. Наблюдая ходы своей соперницы, он не без основания к ней присматривался.

Так, например, зимою графиня подошла как-то к окну и сказала: «Как холодно сегодня, и посмотрите, однако ж, сколько воробьев на улице!» Госпожа Шилохвостова, стоявшая подле, вдруг жадно ухватила руку графини, глаза ее прищурились от накопившихся слез, и тут же, обратясь к присутствующим, она громко и восторженно стала уверять, что гра-

финя сейчас высказала сожаление о бедных незащитных воробьях, вынужденных искать пищи в такой ужасный холод; она никого не пропускала без того, чтобы не повторить рассказа и всякий раз с новым вариантом. «Скажите, повторяла она, – скажите, чье сердце, кроме ее, может совместить в себе столько добра и милосердия? Ее даже сокрушают бедствия несчастных птичек!» Сутки спустя, по городу ходила уже целая поэма, в которой главными лицами были стаи замерзающих воробьев и графиня, старавшаяся обогреть их на груди своей.

Вскоре после воробьиной истории графиня лишилась сестры; она вышла в глубоком трауре поклониться праху покойницы. Госпожа Шилохвостова, присутствовавшая на церемонии и стоявшая как можно ближе к гробу с заплаканными глазами, не пропускала ни одного движения графини; едва окончилась служба, она поспешила передать свои впечатления. «Я стояла против графини, повествовала она, прикладывая платок к глазам, – одно глубокое религиозное чувство может так поддерживать дух и энергию!.. Она подошла к

гробу: на лице ни одной слезинки, ни одного движения! Вся она была там! там!..» и вдруг, как бы передумав, тут же прибавила, обратясь к двоюродной сестре графини: «Я стояла подле, она подошла... Я в жизни не видала ничего подобного: вся она была одна слеза, одно рыдание!..»

Все эти рассказы доходили, разными путями, куда следует, возбуждая, с одной стороны, смех, но, с другой стороны, вселяя некоторое беспокойство в душу Ивана Иваныча.

В настоящее утро госпожа Шилохвостова явилась с новой выдумкой: рисунком для ковра, который, как уверяла она, страстно рвался вышить приют молодых арестанток; движимые единодушным трогательным чувством признательности к графине, они желали покрыть этим ковром пол часовни, где была погребена ее сестрица. Г-жа Шилохвостова явилась уже четвертый раз с тем же предметом; в первый раз требовалось узнать, нравится ли вообще рисунок ковра в целом и деталях; во второй раз надо было осведомиться, какой цвет лучше подходит к фону главной средней розассе; в третий – узнать, что поместить в

розассе: герб графов Можайских, или же ограничиться только вензелем. Показывая рисунок в четвертый раз, г-жа Шилохвостова желала окончательно выяснить и утвердить цвет бордюра: сделать ли его синим, – преобладающим цветом в гербе, – или же оставить черным, как прежде предполагалось.

– Иван Иваныч вошел весьма кстати, сказала графиня, – он скажет нам свое мнение.

– К сожалению, я не сведущ в делах такого рода, скромно возразил Воскресенский.

– Ну, так остановитесь окончательно на синем борте, продолжала графиня, – черный борт уж что-то слишком мрачен. Смерть призывает нас к другой, лучшей жизни; не знаю, откуда взяли окружать ее трауром... И так, до свидания, chère Анна Матвеевна, завершила она неожиданно и протянула собеседнице руку.

Госпожа Шилохвостова страстно обхватила протянутые к ней пальцы обеими ладонями и поднялась с места, причем кресло крякнуло, как бы радуясь освобождению от удручающего давления. Кивнув головою Ивану Иванычу, она прошла три шага, снова повер-

нулась лицом к графине, произвела новый расплывчатый реверанс и вышла.

Иван Иваныч надеялся, что ему скажут: «фу, какая несносная! Как надоела!» – но надежды его не оправдались. Обратясь к нему, графиня спросила только:

– Ничего решительно, ваше сиятельство, ответил тоном сожаления Иван Иваныч, – застой совершенный; я был сейчас у графа и явился к вам единственно с тем, чтобы осведомиться о вашем здоровье... Позволил себе также принести вам маленькую безделицу.

– Что такое?

– Старшее отделение сиротского приюта просить вас осчастливить его принятием знака усердия и высокой признательности... Дети сложились, – даже трогательно было видеть их единокорые! – и сделали вам баульчик для укладки шерсти.

– Где же он? Это очень интересно...

Иван Иваныч бросился к двери и, минутою спустя, поднес ящик, деликатно поддерживая его обеими ладонями.

– Очень вило, сказала она, – очень благодарна! Эти дети меня решительно балуют; на-

до мне также побаловать их чем-нибудь. Я пошлю им конфет.

– Бога ради, ваше сиятельство, не посылайте! оживленно заговорил Воскресенский. – Простите мне великодушно, но этого ни под каким видом не надо делать; последствия были бы самые вредные. Все старания мои направлены к тому именно, чтобы держать детей в обстановке той среды, из которой они вышли; единственною их роскошью должны быть религиозное и нравственное питание; конфеты – произведение роскоши; они ее напоминают; они разовьют в детях желания и вкусы, несоответствующие их положению...

– Опасность, мне кажется, преувеличена... Но, с известной точки зрения, вы, может быть, правы! Детям людей низших классов, действительно, опасно развивать вкусы; мы видим, к сожалению, к чему приводит нас баловство в низменных слоях общества!.. Мне, все-таки, хотелось бы чем-нибудь поблагодарить детей за их подарок.

– Я велю раздать им книжечки наших *правил о благонравии*; уверяю вас, они будут очень довольны.

– Нет, книжечки эти уж много раз им давали...

– Действительно... Тогда, если позволите, я прикажу раздать им булочек...

– Прекрасно, сказала графиня. – Смотрите только, чтобы всем досталось; никто бы обделен не был.

– Сам буду наблюдать, ваше сиятельство; каждому будет по булочке.

– Благодарю вас; вы добрый и хороший человек, Иван Иваныч!

При этих словах, высказанных в первый раз с таким убеждением, Воскресенский приподнялся с места, устремил на собеседницу беловатые зрачки, стараясь придать им расстроганный вид, и произнес колеблющимся голосом:

– Мне... мне надо благодарить вас... Вся цель моя заслужить благорасположение ваше! Мне, собственно, как вам хорошо известно, ничего не надо... Я ничего не ищу; задача моей жизни – делать добро по мере сил моих и приносить пользу...

– Знаю, знаю... начала было графиня, но взглянула украдкой на часы, бросила на стол

вязанье и прибавила, неспешно вставая с дивана, – я с вами заговорилась!.. Мне надо еще переодеться и поспеть на станцию петергофской дороги... Прощайте! Надеюсь, до скорого свидания!..

Склонив голову и опустив глаза к голу, Воскресенский сохранил такое положение до той минуты, пока графиня не вышла из комнаты.

Приемная, между тем, начинала проявлять некоторое оживление. Дверь графского кабинета была еще закрыта, но уже подле нее стоял толстенький курьер; другой курьер занял место у входа в приемную. Перед одним из зеркал охорашивался дежурный чиновник Стрекозин, весь вылощенный, с пробором, так старательно прохваченным от лба до затылка, что гребень в некоторых местах задел даже кожу. При малейшем шорохе он ловко перевертывался на каблуке, придавая своему красному лицу выражение любезности и приветливости, обязательное для чиновников, состоящих на дежурстве у начальника.

Вскоре появился третий курьер вместе с лакеем во фраке и белом галстуке; они принялись устанавливать перед окном ломберный стол. Узнав, что сюда приказано поставить для осмотра его сиятельства церковную утварь, предназначенную для церкви нового центрального приюта, Стрекозин торопливо вставил в правый глаз стеклышко; такая предусмотрительность не была лишней, по-

тому что, минуто спустя, курьер и лакей внесли корзину с утварью. К сожалению, Стрекозину не пришлось удовлетворить своему любопытству; обязанность выказывать любезность всем входившим в приемную заставила его немедленно обратиться к показавшемуся тут же архитектору Зиновьеву, старичку небольшого роста, но еще плотному и живому. Старость выказывалась бесчисленными мелкими морщинками, собранными вокруг глаз, оттененных желтизною кожи, и тем еще, что, вместо волос, на темени оставалось подобие пуха, колеблемого как ковыль на ветру; признаки оживления сохранились в светлых голубоватых глазах, смотревших умно, но, вместе с тем, скромно, откровенно и честно. В этом взгляде и вообще во всем лице, несмотря на его морщины, преобладало выражение добродушия, можно даже сказать, чего-то детского и невинного, если б последнее не служило, но большей части, синонимом простоты. Широкий лоб Зиновьева, его взгляд и полные губы, часто сжимаемые горькой улыбкой, ясно показывали, что то, что казалось детским и простодушным, ничего не

имело общего с ограниченностью; то и другое проистекало скорее из свойств чистой, прекрасной души; от всего его существа веяло чем-то прямым и честным; свойства эти до такой степени были присущи его природе, что их не могли ослабить ни лета, ни жизненный опыт.

Раскланявшись с дежурным чиновником, Зиновьев заботливо принялся расставлять принесенную утварь. Она доставила ему в последнее время немало хлопот. Он не считал трудности при составлении самых рисунков, требовавших кропотливого изучения образцов от девятого до двенадцатого столетия; работа была ему по сердцу, увлекала его и он трудился с усердием. Главным образом нестерпимо было возиться после того, как рисунки были уже окончательно утверждены и самые предметы стали постепенно изготавливаться. Их то и дело требовали для просмотра, и каждый из участников считал непременно своим долгом сделать какое-нибудь замечание. Иван Иванович говорил: «Прекрасно», но тут же прибавлял, прикасаясь всегда к каждой вещи: «Тут вот как будто... что-то та-

кое»... Граф то одобрял, то находил также, «что тут... как будто что-то такое» и, не договаривая, желал исправления. Графиня, в общем, была довольна, но в последнее время стала находить, что стиль слишком кудряв и мало «как будто» отвечает строгости назначения. Хуже всего было то, что всякий раз волей-неволей приходилось переделывать и, чаще всего, портить то, что давно было утверждено при представлении рисунков. Теперь, кажется, все было сделано; но нет, – Воскресенский снова предувещивал о желании графа взглянуть еще раз на утварь; делать нечего, – надо было исполнить приказание.

В то время, как старый архитектор хлопотал у стола, в приемную вошел, оглядываясь на все стороны и как бы чего-то отыскивая, рослый купец с медалью на ленте; за ним робко выступила тощая дама в траурном платье такого вида, как будто его заодно с владелицей вытащили из воды, не успев еще хорошенько просушить. Спустя несколько времени, показалась группа из восьми лиц мужского пола; тут были рослые и маленькие, старые и средних лет, лысые и приглаженные, и

такие, у которых волосы торчали, как иглы у ежа; все были во фраках и белых галстуках; некоторые выказывали на видных местах орденские знаки.

Стрекозин, перевертываясь волчком на каблуках, любезно подходил к каждому, записывая карандашом на бумаге фамилию.

– Как прикажете записать? осведомился он, подходя к мужской группе.

– Депутация из Москвы, проговорил лысый господин, наклоняясь так близко, что уже не слышно было последних слов.

– Вас, сударыня, как прикажете? обратился он к траурной даме.

– Сюсюкова...

– Как-с?

– Сю-сю-кова... Я насчет мужа...

– Вас, сударь? спросил он, подходя к купцу.

– Купец первой гильдии Жигулев... я от Ивана Иваныча...

Это последнее сообщение было уже, казалось, слишком достаточно для Стрекозина; он приветливо улыбнулся и отошел в сторону.

В ту же минуту показался сам Иван Иваныч. Стрекозин мгновенно выпустил стек-

льшко из глаза и, отступая на цыпочках, как актер во время вызова, дал ему почтительно дорогу.

Ответив ему мимоходом ласковым поклоном, Воскресенский подошел к купцу, пожал ему руку, сказал в упор тихим голосом несколько слов, после чего направился было к Зиновьеву, но был остановлен подбежавшим курьером, который шепнул ему что-то под самое ухо.

– Скажи им: сейчас, проговорил Иван Иваныч. Медленным шагом последовал он за курьером и вышел из приемной.

Иван Иваныч остановился у спуска парадной лестницы, на которой торопливо шагали два господина, – один тощий, белокурый и приглаженный; другой коротенький, коренастый и черный, как армянин; оба были в белых галстуках и во фраках, украшенных крестиками в петлице. Первый был живописец Лисичкин, второй архитектор Бабков. Следом два лакея вносили картину, тщательно обернутую простынею, а ниже выступал курьер, державший в руках огромную папку.

– Хорошо! хорошо! с ласковым укором об-

ратился к ним Воскресенские.

– Никаким образом не было возможно...
Задержал позолотчик, проговорил Лисичкин
сладеньким, масляным голосом.

– Меня извозчик задержал, чорт бы его по-
брал! отозвался, как из бочки, коренастый
Бабков.

Успокоив их известием, что граф еще не
выходил и будет время сделать все как следу-
ет, Иван Иваныч отдал приказание нести кар-
тину и папку боковыми переходами, минул
парадные комнаты, до маленькой столовой,
примыкавшей к задней части кабинета. Он
провел тем же путем живописца и архитекто-
ра. Путь этот давно был им избран для тех, ко-
му он особенно покровительствовал.

Бабков и Лисичкин, каждый в своем роде,
могли служить образчиками в той категории
художников, которых называют *практиками*,
но не в рабочем смысле, а в смысле ловких,
практических свойств их характера. Проныр-
ливые от природы и, кроме того, с самолюби-
вой закваской, лица этого рода, еще в юных
годах, не примиряются с положением товари-
щей, которые, – при той же бездарности и от-

сутствия истинного призвания, – упрямо продолжают работать, обрекая себя добровольно скромной карьере. Они не уживаются с сознанием своего ничтожества. Оно терзает их и растравляет в них чувство мещанского самолюбия. Художество не далось, – нечего себя дольше обманывать; сколько тут ни бейся, ни до чего, очевидно, не дойдешь, ничего не возьмешь. Между тем дойти, взять, выйти в свет смертельно хочется! Как тут быть? Нельзя ли, по крайней мере, хоть воспользоваться художественной профессией? Можно. Не перечесть, сколько уже раз служила эта профессия для добывания видных мест, чинов и знаков отличия. На это, пожалуй, могут возражать; «К чему художнику видное место? Какое место лучше мастерской, где представляется полная свобода благородного труда и творчества? К чему ему чины и орденские знаки? Его знаки отличия – его произведения; его чины – их прогрессивное совершенство!..» Все это справедливо, но только для художников с истинным призванием и талантом. Но сами скажите, разве иного таких?

Бабков и Лисичкин, действуя независимо,

отдельно один от другого, повинуюсь только собственному нюху, пришли, тем не менее, к одной цели. Оба незаметно подмостились к Ивану Ивановичу, и каждый лез из кожи, стараясь угодить ему, зная, что за ним усердие не пропадает. Бабков, искавший, прежде всего, выгодных казенных построек, даром доставлял планы для подведомственных Ивану Ивановичу богаделен и душеспасительных школ, строил, воздвигал дымовые трубы, проводил водосточный каналы, подбивал молодежь безвозмездно рисовать и чертить; Лисичкин, более самолюбивый, подбирался, как кошка к сырому мясу, к почетному званию и кресту на шею; с этою целью спешил он украшать стены приютов и богаделен портретами председателей и великодушных жертвователей, сам жертвовал образа своей работы, исполнял поручения, давал советы и хотя в последнем часто выказывал резкость и самоуверенность, не отвечавшие его менее чем скромному значению, как художника, но делал это, убедившись из опыта, что смелость и дерзость иногда города берут.

Воскресенский был поэт в своем роде. Сти-

хов он не писал, но склонен был к увлечениям и даже не лишен был творческой способности. Он постоянно находился под обаянием какой-нибудь личности или нескольких лиц, которых сам же выдумывал, снабжая их вдруг всеми возможными качествами. Чем ничтожнее была личность, но чем более усматривалось в ней смирения и преданности, тем вернее могла она рассчитывать попасть в число любимцев Ивана Иваныча. Любимца всюду выставляли вперед, расхваливали на всех перекрестках, рекомендовали и определяли, хотя бы для этого требовалось придрататься к другому лицу и спихнуть его с места. Иван Иваныч не преследовал при этом никакой корыстной цели: он действовал искренно: в увлечениях его было что-то отеческое, вытекавшее из потребности выводить маленьких Воскресенских и им покровительствовать. Такими любимцами в последнее время были Бабков и Лисичкин. Мимо тех услуг, какими можно было от них пользоваться, Иван Иваныч чувствовал к ним какое-то внутреннее влечение.

Он любил обоих за то также, что с ними не

требовалось больших расходов красноречия. Несмотря на внешнюю разность типов Бабкова и Лисичкина, у обоих были совершенно схожие глаза серого оттенка, так уже устроенные, что они понимали с полуслова, читали на лицах едва уловимые знаки, хватали на лету намеки. В усердии они старались опередить один другого. Отсюда между ними происходило маленькое соперничество, заставлявшее архитектора называть живописца «лукавым блондином» и живописца называть архитектора «хитрым мужиком», что, впрочем, не мешало им быть почти неразлучными. Когда работа доставалась одному, он непременно старался привлечь к ней другого.

Связь их не нарушалась даже несходством характеров. Бабков отличался грубостью, которой ловко пользовался, придавая ей вид простоты и беззаботности русской прямой натуры. «Вы меня великодушно простите, – любил он повторять при разговоре с влиятельными особами, – я человек не придворный; никаких этих тонкостей не ведаю; я простой русский мужик, простой ломоть ржаного хлеба... да! Но правду за то, правду всегда скажу!»

Никто, конечно, не справлялся, в каком колодезе скрывалась эта правда; тем не менее, множество лиц попадало на удочку. Когда казалось сомнительного вопроса, не раз приходилось слышать сожаление, что нет при этом Бабкова: «Жаль, он человек простой, но прям, и сказал бы нам правду!» Лисичкин брал на другой крючок; он весь был елей, мед и сахар; мягко говорил, нежно пожимал руки, целовался в засос, скромно сторонился, попадая, однако ж, как раз в луч зрения тех, в ком нуждался, и, подобравшись украдкой, подмаслив и подсластив как следует, вдруг неожиданно врезывался винтом и уже тогда проявлял ту дерзость и самоуверенность, о которых говорилось выше.

Роль Бабкова и Лисичкина была незавидна в кругу настоящих художников. Все очень хорошо знали, что, как художники, они ровно ничего не стоили, рисовали хуже школьников и были бездарны, как кукушки. О первом говорили, что он «скорее плотно набивает карман, чем плотно строит»; второго окрестили «гнилым яйцом, снесенным случайно в подол русского искусства». Обоих одинаково

приписывали к разряду штукарей и пройдох.

Устроив двух приятелей в маленькой столовой, Воскресенский прошел в кабинет, где уже застал графа готовящимся выйти в приемную.

– Пока там собираются, ваше сиятельство, сказал Иван Иваныч, указывая на дверь приемной, – не угодно ли вам будет на секунду пожаловать рядом, в маленькую столовую; я привел туда архитектора Бабкова, который доставил планы конюшен и флигеля в Синекурове[2]; желалось мне также показать портрет ваш, прежде чем его поставят на место...

– Это куда же?

– В новый центральный приют; портрет писал художник наш, Лисичкин.

– Какой Лисичкин?

– Тот самый, который пожертвовал иконостас своей работы для церкви нового приюта.

– А! знаю! Очень рад буду его видеть, сказал граф, направляясь к маленькой столовой.

Иконостас, о котором упоминал Воскресенский, был одним из наказаний строителя церкви, Зиновьева. Он ахнул, когда увидел его, и чуть не заплакал, получив приказание

поставить его. «Что же это такое? – твердил он упавшим голосом и жалобно скрещивая руки при виде рутинных и детски-намалеванных изображений, вместо тех строгих образов древнегреческого характера, которыми мечтал он украсить церковь, любимое свое детище. – Боже мой, что же это такое?» повторял он, потирая в недоумении лоб. Выражения эти были, к сожалению, переданы Лисичкину, который с тех пор стал искоса поглядывать на старого архитектора.

– Здравствуйте, господа! приветливо воскликнул граф, выходя к художникам.

Бабков, державший папку наготове, вытянулся по-солдатски; Лисичкин, стоявший подле портрета, представлявшего графа в полном парадном мундире, растаял, как кусок масла, опущенный в горячую воду.

Граф остался доволен сходством, пожалел только, что все портреты писаны заочно, с фотографий, отличаются недостатком чего-то серого в общем тоне и вообще страдают отсутствием чего-то живого.

Такого замечания именно и ждал Лисичкин.

– Я, ваше сиятельство, с тем и взял на себя смелость представить вам портрет, что надеялся... надеялся удостоиться хотя бы одного сеанса... всего на полчаса какие-нибудь!.. Вот тут бы и еще здесь следовало пройти еще раз, подхватил он, прикасаясь пальцами к полотну так нежно, как бы боясь что-нибудь испортить. – Один только сеанс, ваше сиятельство! добавил он робко-умоляющим голосом.

– Очень рад! Я пришлю сказать, когда будет можно, ласково возразил граф. – У вас что? обратился он к Бабкову.

– Планы конюшен и флигеля, которые вам угодно было приказать составить, хрипло отвечал Бабков, принимаясь развертывать панку.

– Прекрасно; но, прежде чем решить что-нибудь, надо было бы посоветоваться с графиней...

– Ее сиятельство только что уехала, заметил Иван Иванович.

– Тогда отложим лучше до завтра... к тому же, мне теперь недосуг; меня ждут в приемной.

– Я пригласил этих господ еще с тем, ваше

сиятельство, вкрадчиво начал Воскресенский, – что так как вам угодно было приказать архитектору Зиновьеву представить сегодня церковную утварь, то г. Лисичкин и г. Бабков, оба, как опытные художники, могли бы дать полезные указания...

– Прекрасно сделали! Очень рад буду видеть вас еще раз. Теперь прощайте! заключил граф, возвращаясь в кабинет,

Свидание было непродолжительное, но привело к тому, что было заранее рассчитано: Лисичкин добился сеанса, который доставлял ему случай видеть графа с глазу на глаз; Бабков достиг той же цели. Обоим открывалась возможность врезать лишний раз их черты в памяти графа. Сознывая важность услуги, как тот, так и другой не переставали благодарить Воскресенского во все время, как он вел их в приемную.

Пока Иван Иванович занялся беседой с теми и другими лицами, Бабков и Лисичкин подошли к Зиновьеву.

– Боже мой, кого я вижу! Здравствуйте, многоуважаемый Алексей Максимыч, здравствуйте! заговорил Лисичкин таким голосом,

как будто не ожидал встречи с любимым человеком и был искренно ею обрадован.

В избытке чувств он уже склонился, выражая желание облобызать старика, но подумал о неудобстве места и воздержался.

– Как здоровеньки, батенька? Давненько не видались! сказал Бабков, протягивая руку.

Изъявление дружеских чувств несколько удивило Зиновьева. С Лисичкиным он познакомился, когда пришлось ставить его иконостас, – обстоятельство это не способствовало их сближению; с Бабковым он встречался также весьма редко. Все это не помешало ему любезно раскланяться и подвести их к столу с утварью.

– Прелесть!.. Ну, просто прелесть! воскликнул Лисичкин, расплываясь от восхищения прежде еще, чем успел осмотреть что-нибудь. – Откуда только, многоуважаемый Алексей Максимыч, откуда взяли вы эти чудные типы?..

– Откуда? Вот откуда! брякнул Бабков, хлопал себя по лбу. – Я правду говорю!..

– Конечно, подхватил живописец, – но, Боже мой, – сколько исследований... Одно это

кадило: сласть просто! восторгался Лисичкин, косясь, однако ж, на дверь кабинета.

– Талант, голубчик! Я не люблю кривляться; прямо говорю: талант! Видел ли ты рисунки его реставраций?

– Видел, подхватил Лисичкин, – чудеса просто! А видел ли ты у Алексея Максимыча его рисунки итальянских мозаик? Если не видал, попроси взглянуть! Истинное сокровище! Скажите, неужели они до сих пор не изданы?

– Пока еще нет, скромно отозвался Зиновьев. – Помилуйте, кому они нужны? Чем можно было, я воспользовался для церкви и приюта; многое подходило к стилю... Остальное до сих пор так лежит.

– О чем это вы тут беседуете? тихо, как бы подкравшись, спросил Иван Иваныч.

– Восхищаемся, проговорил «лукавый блондин» с видом простодушия.

– Стоим да похваливаем! сказал «хитрый мужик», казавшийся в эту минуту более чем когда-нибудь простым «добрым малым».

Серые зрачки его встретились с глазами Лисичкина; оба украдкой обменялись взгля-

дом, перевели глаза на Воскресенского и как бы случайно попали прямо в его луч зрения. Обмен этих взглядов прошел незаметно для Зиновьева, который в это время благодарил Ивана Иваныча, присоединившего свои одобрения к похвалам художников.

– Все это отлично, господа, сказал Воскресенский, – но были ли вы в самой церкви, для которой предназначается эта утварь, – я разумею: видели ли вы ее теперь, в последнее время?

– К сожалению, с тех пор не был, как Алексей Максимыч так обязательно ставил мой иконостас, отозвался Лисичкин, из памяти которого изгладилось, по-видимому, неудовольствие, возникшее тогда между ним и старым архитектором.

– Я также давно не был! подхватил добродушно Бабков. – Сто раз собирался, да все дела, батенька! А вот что: благо все здесь налицо, взяли бы, да и поехали!..

– Очень буду рад, пробормотал Зиновьев.

– Вы доедете с нами, Иван Иваныч?

– С удовольствием, только сегодня и завтра мне невозможно...

– Я попросил бы вас, господа, повременить еще несколько дней, принужденно выговорил Зиновьев, – теперь снимают внутри леса; самое неблагоприятное время! Уж показывать, так показывать товар лицом, как говорится. Позвольте: сегодня у нас вторник; не угодно ли будет в субботу?

– А, ну, в субботу, так в субботу! По рукам, значит! Вам можно, Иван Иваныч?

– Можно.

– И мне также, радостно сказал Лисичкин.

Здесь снова, и опять незаметно для Зиновьева, произошел обмен взглядов между Воскресенским и двумя его приятелями.

Бабков и Лисичкин уже протягивали руки Зиновьеву, но в эту минуту курьер отворил обе половинки двери в кабинет, и оба быстро откинулись в сторону. Между присутствующими прошло жужжание, точно всполошился рой больших осенних мух; шум этот тотчас же упал, как будто все мухи разом вылетели в окно. Наступило мертвое молчание.

С приветливой улыбкой на устах, в глазах, на всем лице, показался граф.

Все замерло. Слышалось только, как хлопа-

ла маркиза в одном из окон.

Иван Иванович, скользя на своих мягких подошвах, приблизился к графу; с другой стороны подлетел дежурный чиновник Стрекозин, весь превращаясь в слух и зрение.

Граф подошел прежде всего к депутации. Из группы выступил кудрявый с проседью господин.

– Имеем честь представиться, начал он колеблющимся голосом, – депутация из Москвы к вашему сиятельству от... от... *общества призрения сирот китоловов, погибших на Мурманском берегу...* Просим ваше сиятельство сделать честь обществу принять его под ваше покровительство...

– И председательство, шепнули сзади, но так громко, что все услышали.

– И председательство, оторопев, добавил оратор.

– Прекрасная мысль! Очень рад, господа; всегда сочувствую всякому доброму, полезному делу, с любезностью сказал граф. – Давно общество основано?

– Основывается только что, ваше сиятельство...

– Прекрасно! Я только не понимаю, почему же именно в Москве? Не удобнее ли было бы где-нибудь у моря; например, хоть в Архангельске?

– В Москве, ваше сиятельство, предполагается только устройство центральной администрации... Оттуда уже...

– Ну, это другое дело... Поблагодарите от меня общество, господа; передайте, что я с своей стороны готов... всегда готов содействовать всякому доброму, полезному делу...

Оратор сделал шаг вперед и, согнувшись, подал устав общества. Граф обратился к Стрекозину, которого, в рассеянности, назвал Ласточкиным, и приказал принять устав.

Члены депутации попятились назад с поклонами.

Граф приблизился к купцу, который, издали еще, топтался на месте, как гусак; по лицу его струились крупные капли пота; глаза его, выпученные как у лягушки, умилительно моргали.

Иван Иваныч слегка наклонился к уху графа:

– Купец Жигулев... благодарить за награ-

ду...

– Поздравляю! приветственно сказал граф, – от души поздравляю!..

Глаза Жигулева неожиданно зажмурились, жирное лицо задрожало, и он проговорил, задыхаясь на каждом слове:

– Ваше сиятельство... осчастливьте!.. Сегодня у меня жена именинница... Осчастливьте... позвольте поцеловать вашу ручку...

– Полно, старик, полно! ласково проговорил граф, трепля его по плечу и всякий раз быстро отдергивая руку, как только Жигулев порывался влечь в нее поцелуй.

После этого он прошел к траурной даме. Но та от волнения решительно не могла произнести слова и только утирала слезы и совала вперед просьбу, дрожавшую в ее руке.

– Успокойтесь, сударыня, сказал граф, – я сделаю все, все, что будет только возможно... Ласточкин! – обозвал он снова Стрекозина, – возьмите у дамы просьбу и потом мне передайте... Еще раз прошу вас, сударыня: успокойтесь!

При виде Зиновьева и расставленной на столе церковной утвари, улыбающееся лицо

графа сделалось несколько строже.

– Здравствуйте, проговорил он с несвойственной ему сухостью.

Он медленно подошел к столу, между тем как Лисичкин и Бабков, выступая за ним на цыпочках, жались подле Ивана Ивановича.

– Все ли, наконец, у вас готово? Давно пора, мой милый!.. Господа, обратился граф к двум художникам, – вы здесь весьма кстати: интересно было бы знать ваше мнение... Что вы на это скажете?

– Прекрасно! с нежностью, но нерешительно как-то сказал Лисичкин.

– Отлично! глухо отозвался Бабков.

– Тонко... деликатно! подхватил Лисичкин, – но тут же замялся, как бы стесняясь дальше выразить свое мнение.

– Никаких, стало быть, замечаний? спросил граф.

– Гм...

– Никаких, ваше сиятельство... все здесь одинаково прекрасно. Конечно, во всем можно всегда найти недостатки... но зачем же это?

– Говорите, не стесняйтесь, прошу вас! ска-

зал Зиновьев.

– Зачем же? помилуйте!.. Все так прелестно!

– Коли пошло на правду, одно скажу: все хорошо; позолота только, сдается мне, не совсем того...

– О, нет! я не скажу этого, вмешался Лисичкин, украдкой переглядываясь с Иваном Ивановичем. – Позолота прекрасная... Возьмем, например, хоть это кадило: чудо! Тут только... вот... как будто... мне кажется...

– Что ж вы тут находите? спросил Зиновьев, краснея.

– О, ничего решительно! Прелесть!.. Вот разве можно было бы... чуть-чуть... так, едва заметно... выгнуть эту линию... закруглить, так сказать... заметил Лисичкин, производя над кадилом неопределенные движения пальцами,

– Теперь уже поздно переделывать! прервал граф, – мы и без того запоздали!.. Вы знаете, мой почтеннейший, я всегда отдавал справедливость вашим трудам и таланту, обратился он к Зиновьеву, – но должен сказать, однако ж: вы затягиваете окончание дела до

невозможности! Шутка: целых три года тянется постройка церкви, и теперь еще конца нет! Вы сами обещали мне быть готовым к весне; теперь середина лета... Так, право, невозможно! И добро бы задерживало что-нибудь существенное! В деньгах никогда, кажется, не было недостатка...

– Я только что хотел просить вас о новом кредите, начал было Зиновьев, но граф перебил его опять с такою резкостью, какую редко выказывал.

– Это дело не мое, а Ивана Иваныча; обратитесь к нему. Иван Иваныч, переговорите с господином Зиновьевым! заключил граф, расквашиваясь на все стороны и проходя в кабинет в сопровождении дежурного чиновника, который нес за ним просьбу и устав.

Лицо графа, на минуту нахмуренное, приняло снова свое сияющее, приветливое выражение; взяв бумаги от Стрекозина, он любезно объявил ему, что на весь день освобождает его от дежурства, но видя, что Стрекозин не трогался с места и странно как-то моргал глазами и ухмылялся, граф спросил с улыбкой:

– Что с вами, мой милый?

– Я потому, граф... застенчиво возразил Стрекозин. – Вам угодно было два раза называть меня Ласточкиным...

– Как так?

– Моя фамилия: Стрекозин...

– Знаю.

– А вы изволите все время называть меня Ласточкиным.

– В самом деле? Извините меня, пожалуйста; это я в рассеянности, смеясь сказал граф. – Отчего вы тогда же меня не предупредили?

– В данный момент не смел противоречить вашему сиятельству! – промолвил Стрекозин, посматривая заискивающими глазами на графа, который неожиданно разразился добродушным смехом.

Не желая прервать его, Стрекозин попятился к двери. Когда он вернулся в приемную, там никого уже не было.

— Боже мой, какая жара! Уж не в Африке были мы? — почти вслух сказал Алексей Максимыч Зиновьев, выходя на Невский проспект.

До настоящей минуты он шел теневой стороной улицы и, кроме того, мало на что обращал внимание, находясь под впечатлением графского приема; он был им совершенно озадачен.

Здесь, на Невском, солнце уже так припекало, что нельзя было оставаться к нему нечувствительным. К жаре, усиливающейся от раскаленных плит, примешивался пряный, банный запах согретой Мойки; с другой стороны тянуло запахом газа, исходившим из канавы, в которой чинили трубы; несколько дальше понесло смолою от новой торцовой настилки; словом, охватывало той удушливой атмосферой, которая, в жаркое время, носится облаком над городом, виднеется еще издали, вызывая всегда радостное восклицание дачника: «Вот, однако ж, от чего мы освободились!»

Если не считать дворников, баловавшихся поливкой мостовой, и редких пешеходов, Невский проспект, заслонявшийся в глубине пыльной рыжеватой мглою, был почти пуст. Этому способствовал отчасти полдень и отдых рабочих. Местами целая артель мостовщиков храпела, развалясь на солнце; местами попадались извозчичьи лошади, стоявшие с понуренными головами и шевелившие» ушами, между геи как их возницы, раскиснув на дрожках, крепко спали с открытым ртом и багровым, мокрым лицом, облепленным мухами. С разных концов крыш и в разных направлениях висели веревки с клетками для маляров; многие дома стояли наполовину окрашенными; целые участки тротуара были забрызганы мелом. Елки, посаженные в кадки у входа в ресторан Доминика, совсем уже успели пересохнуть; стоявшие тут же маленькие мраморные столики отдавали жаром; к ним жутко было прикоснуться. Вообще говоря, Невский проспект не имел в это время ничего привлекательного; он возбуждал желание убежать от него как можно дальше.

То же самое, вероятно, думал и Алексей

Максимыч; он поминутно отирал лицо платком и снимал шляпу, чтобы ею опахнуться. Он радостно достиг Михайловской улицы, радостно сел в вагон конки, и еще с большею радостью осветилось доброе лицо старика, когда вагон, дребезжа своими стеклами, покатил к Царицыну лугу,

«Желал бы я знать, отчего вдруг такая немилость?» мысленно рассуждал он, возвращаясь к предмету прерванных размышлений. – «Бывало, всегда такой обходительный, любезный... Никогда не видал его таким, как сегодня! Желал бы знать также, чего увиваются эти два господина? Ну, Воскресевский, – тот ведет дело, всем ворочает, видит здесь расчет какой-нибудь... Но эти-то что?.. Эх-хе! Раз в жизни посчастливилось встретить настоящую, милую работу... Мечтал о ней, наконец добился; любил ее и лелеял, как детище; всю душу положил, как говорится... Хоть бы спокойно дали достроить, – нет! что ни день, ставят новые рогатки; вмешиваются, портят, заставляя принимать, например, такие работы, как тот иконостас! Ох, уж мне этот иконостас! Суetyят, торопят... В конце концов, больше го-

ря, чем радости! Впрочем, нет худа без добра! Пример годится моему Сереже; он же такой горячий! «Талант, говорит, талант и труд все, дедушка, побеждают!» Твоими бы устами мед пить, голубик. Бедный мальчик! Пускай, однако ж, остается, Христос с ним, при такой вере; она нужна в молодости; жизнь в свое время всему научит!»

На Карповском мосту Алексей Максимыч торопливо вылез из вагона, спустился с моста и пошел правым берегом речки, С этой стороны дачи теснятся только при самом начале; дальше они редеют, заменяясь мало-помалу заборами и садами. Местами, у самого берега, почти из воды подымалась группа старых ветел и ольхи, и тень от них, сливаясь с тенью ближайшего сада, покрывала дорогу. Старик снимал тогда шляпу и с видимым удовольствием начинал вдыхать воздух. Он вообще казался теперь менее озабоченным, чем был в вагоне; впечатления утра, по-видимому, сглаживались, давая место более спокойным, светлым мыслям. Всякий раз, как на пути встречалась живописная группа деревьев или речка делала поворот, открывая неожиданно

новый картинный эффект света, Алексей Максимыч замедлял шаг и на лице его проступало заметное оживление. Раз даже, не удовольствовавшись немым созерцанием, он громко воскликнул:

– Эх, жаль, нет моей Марусеньки! Какую славную акварель она бы здесь написала!..

Он ускоренно зашагал по деревянным мосткам, заменявшим тротуар, и, немного погодя, вышел в дальний конец Песочного переулка, где нанимал дачу.

Дом стоял в глубине сада, отделявшегося от переулка высоким забором из барочных досок, просверленных дырками. Подойдя ближе, Алексей Максимыч стал прислушиваться к голосам, раздававшимся из сада; голоса были ему хорошо знакомы; но с первой минуты понял он, что в доме происходит что-то особенное. Он убедился в этом, как только открыл калитку.

Посреди небольшого дворика дачи стояла незнакомая ему оборванная, босоногая девочка, лет шести, и подле нее также незнакомый и оборванный мальчик, меньшего возраста; лица их были пухлы от слез; на щеке мальчи-

ка виднелись следы крови, которую старалась обмыть Маруся, девушка лет девятнадцати, стройная, красивая, с чудесными волосами каштанового цвета; стоя на коленях перед мальчиком, она обмывала ему лицо, между тем как чашку с водою усердно поддерживали две девочки, лет по десяти, обе белокурые, в ситцевых цветных платьях и белых передниках. Группу завершал юноша, лет двадцати, рослый, широкоплечий, кудрявый, с пушком вокруг щек и на верхней губе. Он казался чем-то взволнован; щеки его пылали, брови судорожно передвигались, пальцы сжимались в кулак. Все присутствующие были чем-то сильно возбуждены; все говорили и кричали в одно время.

При виде старика, белокурые девочки торопливо поставили чашку на песок и со всех ног бросились ему навстречу; не успел он очнуться, как уже почувствовал себя в их руках.

– Дедушка, я расскажу тебе... Это ужасно! ужасно! едва переводя дух от волнения, заговорила младшая из них, Катя.

– Послушай только, дедушка, что я расскажу тебе! Ты только послушай; это ужасно!

кричала с другой стороны вторая девочка, Соня.

– Пойдите же, деточки, пустите... нельзя же так, отбивался Алексей Максимыч, целуя их в то же время. – Начнете вместе рассказывать, я ничего не пойму... я даже слушать не стану, если так... Вот, смотрите: и шляпу, новую шляпу на земле сбросили... Шалуны, право!.. Спасибо, Маруся, подхватил он, подставляя голову красивой девушке, которая надела ему шляпу, стараясь отстранить Катю и Соню. – Ничего не хочу знать. Буду слушать только Марусю... Слышите ли? Только Марусю... Рассказывай, душенька, что у вас здесь такое... Только постой, не на солнце... Подойдите под навес; там будет удобнее...

Он мимоходом взглянул на юношу; тот старался, видимо, овладеть собою; но краска разливалась по лицу его, и чем больше он бодрился, тем больше выказывал неловкости.

Алексей Максимыч уселся на соломенный стул, придвинутый Марусей; Катя и Соня мгновенно завладели его руками. Юноша подошел ближе, расправляя ладонью растрепавшиеся кудри на голове.

– Ну, Марусенька, рассказывай... Пстой, впрочем, зачем же оставили вы этих ребятшек на солнце? Катя, Соня, ведите их скорее сюда!.. Вот так!.. Не плачь, девочка, тебе ничего худого не сделают; не плачь, душенька; ну, Маруся, рассказывай; во-первых, что это за дети?

– Дети бедного огородника, – торопливо вмешалась Соня.

– Они сегодня ничего не ели, – перебила Катя.

– Деточки, что ж это в самом деле? Так, право, нельзя, – с упреком в голосе сказал старик.

Он хотел показать при этом строгое лицо, но это ему не удалось, и он засмеялся.

– Дедушка! добрый, добрый дедушка! – закричали обе девочки, бросаясь обнимать и целовать старика с такою восторженностью, что шляпа его чуть было снова не слетела на землю.

Наконец, они успокоились.

– Видишь ли, дедушка, – начала Маруся, усаживаясь подле и поправляя ему скосившийся галстук, – все мы сидели здесь на дво-

ре; я шила, Сережа давал сестрам урок из русской истории; вдруг здесь, сейчас за калиткой, раздается детский пронзительный крик. Мы выбежали. На мостках два ребенка, вот эти самые. Девочка заливается-плачет, мальчик кричит; смотрим, из носу его льет кровь, все лицо перепачкано кровью... Спрашиваем: что случилось? Девочка тут же рассказала, что за минуту перед тем проходил мимо какой-то мальчик; поровнявшись с ее братом, он вдруг размахнулся и ударил его по лицу, после чего побежал в лавочку в конце переулка... мы привели детей к себе... Но... но Сережа ужасно разгорячился, – подхватила Маруся, заметно смущаясь на этом месте своего рассказа.

– Короче сказать, дедушка, – вмешался Сережа, успевший в это время остыть и оправиться, – мне захотелось наказать этого негодяя...

– Рыцарь! рыцарь, нечего сказать! – полушутливо, полусерьезно заметил старик.

– Рыцарь не рыцарь, но пропустить безнаказанно поступок болвана, который бьет ребенка по лицу, мне не хотелось, и я подождал

у калитки, пока он не вернется назад... Я, действительно, думал увидеть мальчишку и хотел надрать ему уши, но смотрю: передо мною вдруг выступил с салатником, наполненным огурцами, целый верзила... Меня это окончательно взорвало. Тут девочка закричала: это он, он! Я забылся, бросился вперед... огурцы, конечно, полетели во все стороны... Я уже потом не помню хорошенько... Знаю только, что ему славно досталось... Ручаюсь, он не станет вперед потешаться на детских лицах!

– Какой Сережа храбрый, да, дедушка, да? – восторженно воскликнула Катя.

– И добрый, да, дедушка? добрый? да? – подхватила Соня.

– О, удивительно! Что и говорить! – возразил Алексей Максимыч, разводя руками. – Ну, а что, если б да этот самый детина оказался вдруг сильнее Сережи? Что, если б началась свалка и вмешалась полиция? Тогда что? – прибавил он, поглядывая на юношу. – Как бы все это красиво отозвалось на молодом человеке, который готовит программу на золотую медаль... Неправда ли, как это было бы

красиво, Маруся?.. Скажи сама. Ты у нас одна здесь благоразумная...

В ответ на это Маруся окинула живым взглядом дедушку; встретив знакомую добрую улыбку на лице его, она сказала, что, будь она на месте Сережи, она, по всей вероятности, сделала бы то же самое.

– Заранее предвидел, что ты так ответишь; непременно заступится, уж это само собою, как водится! – проговорил старик, совсем уже развеселившись.

Еще в начале прошлой зимы Зиновьев стал замечать, что молодые люди, выросшие почти вместе, начали обмениваться особенными взглядами, искали укромных уголков и там по целым часам о чем-то с жаром беседовали; он не показал никакого виду, но в ту же зиму, под предлогом усиленных занятий Сережи в Академии Художеств и отдаленности от нее своей квартиры, нанял ему на Васильевском острове меблированную комнату. Сережа с тех пор приходил только к обеду и проводил у дедушки часть вечера.

Веселые возгласы знакомых голосов ни на минуту не умолкали в саду. К ним вскоре

присоединилось звяканье посуды, возвестившее, что семья села обедать. У Зиновьева немного было прислуги. Не считая кухарки, прислуга ограничивалась старой Марьей, или Марьянушкой, как ее обыкновенно все звали. Лет двадцать тому назад поступила она к старому архитектору простой прислужницей, потом мало-помалу завладела хозяйством, потом выходила и вынянчила одного за другим всех детей и теперь уже была чем-то средним между экономкой, членом семьи и старым другом дома. На вопрос Алексея Максимыча, куда девали бедных девочку и мальчика, Марьянушка объявила, что она в точности исполнила желание Маруси: дети были умыты, накормлены, каждому дано, сверх того, по ватрушке, и оба играют теперь в кухне с котятками.

– Уж как же и уплетали, мои голубчики! Посмотрели бы вы только! – присовокупила Марьянушка, весело на всех поглядывая. – Я спрашивала у девочки: со вчерашнего дня, говорит, ничего не ели...

– Благо сыты теперь, давай их сюда! – подхватил Алексей Максимыч, освобождая себя

от салфетки, которую обыкновенно закладывал концами за галстук.

Все торопливо встали из-за стола.

Такая поспешность объяснилась превосходным планом прогулки, которую придумал дедушка во время обеда. Вместо того, чтобы отправиться без цели, как это обыкновенно делалось, он предложил идти всем вместе отыскать огородника и «водворить», как он выразился, мальчика и девочку «на место жительства». Предложение принято было с восторгом. В первые минуты решительно не знали, что делать с Катей и Соней. Нужно было вмешательство Марьянушки, чтобы заставить их терпеливо досидеть до конца обеда.

Был уже пятый час, когда семья Зиновьева всей гурьбой высыпала за калитку сада. Шествие было почти что торжественное: его открывали босые мальчик и девочка под прикрытием Кати и Сони; позади, рядом с Марусей, выступал Алексей Максимыч, заменивший фрак холщевым пальто и цилиндр широкополой соломенной шляпой; за ними шел Сережа, теперь уже успокоенный, с бодрым и довольным видом.

Путь предстоял не шуточный. Приходилось обогнуть чуть ли не половину Аптекарского острова, перейти малую Невку и выйти на ту часть Петербургской стороны, которая замыкается пустырями и огородами. Но всем было очень весело, не выключая дедушки, из памяти которого окончательно, казалось, исчезли неприятные впечатления утра. Увлекаясь воспоминаниями прошлого, он в сотый раз и все с тем же увлечением рассказывал Марусе и Сереже о путешествии, совершенном когда-то пешком по маленьким итальянским городкам, расположенным вдоль Адриатического моря. Он приступал уже к описанию чудес Равеннского собора, – любимому его предмету, – когда Катя и Соня неожиданно остановились у забора и закричали:

– Здесь... здесь, дедушка!

Позади забора простирались во все стороны нескончаемые ряды зеленеющих гряд; слева только подымалась избушка с перекосившимся шестом бывшей скворечницы; вокруг грудями валялся навоз, рогожи, битые черепки. Можно было бы думать, что Петербург находится отсюда за тридевять земель,

если б в отдалении не показывался адмиралтейский шпиц, блистая на вечернем закате.

В ту самую минуту, как семья Зиновьева входила в огород, из избы показалась тощая, босоногая баба, поправлявшая платок на встрепанной голове.

– Мама, мама! закричали мальчик и девочка.

Баба остановилась; увидав детей, она подняла с земли хворостину и скорыми шагами пошла к ним навстречу, повторяя: «Постойте, я вам дам маму! Пострелы этакие..»

Маруся, Сережи и дедушка заслонили детей; Катя и Соня с испуганным видом прижались к старшим.

– Матушка, погоди! Зачем же так? ласково заговорил Алексей Максимыч, удерживая руку бабы. – Выслушай прежде... Дети далеко убежали, заблудились... ну, вот мы их нашли, накормили и привели домой. Скорее мы виноваты, что долго их у себя держали... другой раз лучше присматривай, а то Бог знает что может случиться...

Суровое выражение на лице бабы неожиданно исчезло; хворостина выпала из рук;

она ударилась в слезы.

Из слов ее выяснилось, что муж был только работником на огороде; и вот уже вторую неделю лежит больной; хозяин, между тем, грозит прогнать со двора; гроши, какие были, все ушли на лечение; в доме нет куска хлеба и дети поневоле голодают; сама она бросалась туда-сюда за помощью, но никто даже голоса не подал, никто не откликнулся; тут кто бы ни был – потеряет голову.

Во всем этом не было ничего преувеличенного. Когда Алексей Максимыч, оставив Марусю с младшими девочками, вошел с Сережей в избу, оба ужаснулись окружавшей нищете. Перед низеньким окном с выбитыми стеклами лежал больной, едва прикрытый шершавыми лохмотьями тулупа; на лице его, землянистого цвета, отчетливо выступала неподвижная, заострившаяся профиль; обнаженная грудь с темным углубленным пятном посередине тяжело переводила дух. В избе было невообразимо жарко; с первого шага захватывало дух и бросало в пот.

Алексей Максимыч переглянулся с Сережей, позвал бабу и, остановив ее в дверях,

скоро начал что-то шептать ей, шаря у себя, в то же время, в кармане. Сережа подошел ближе и также украдкой сунул ей что-то в руку. После того оба вернулись к своим, стараясь на пути успокоить бабу, которая, перестав уже плакать, порывалась целовать их руки. Выбежав из избы, она принялась также целовать руки Марусе и двум девочкам. Вопреки увещаниям Алексея Максимыча, настоятельно посылавшего бабу к мужу, она проводила семью за калитку, и долго еще слышался надорванный ее голос, произносивший всевозможные благословения.

Б первое время обратного возвращения домой все члены семьи шли молча. Алексею Максимычу это не понравилось. Ему, во что бы то ни стало, хотелось возвратить присутствующим прежнюю веселость. Для Кати и Сони не требовалось делать больших усилий. С первых его слов обе восторженно забили в ладоши и принялись выделывать прыжки. Выражения радости вызваны были новой выдумкой дедушки; он сообщил, что если та и другая будут слушаться Марусю и хорошо учиться, он всякий раз, после обеда, каждой

даст несколько денег, и обе каждый вечер, вместе с Марусей, могут посещать бедную огородницу.

– И ты, дедушка, будешь с нами? спросили девочки, хватая его за руки.

– Нет, деточки, мне будет невозможно. Я теперь буду очень, очень занят. И Сережа не пойдет с вами; у него также большая работа и ему мешать не надо. Кстати, прибавил он, – как идет твой проект?

– Подвигается, дедушка,

– Когда же ты мне его покажешь?

– Когда совсем окончу.

– Ты все еще упорствуешь?

– Упорствую, дедушка! улыбаясь, возразил Сережа. – Сам посуди: покажи я тебе проект, ты, конечно, начнешь советовать, я, конечно, послушаю твоих советов; проект, разумеется, выиграет, но в нем окажется больше твоего, чем моего, а мне этого не хочется. Каков бы он ни был, пусть лучше все мое будет: и мысль, и детали, и вся обработка.

– Ну, а как провалишься?

Сережа на минуту задумался, но тут же поднял голову. Он начал уверять, что гово-

ритель так вовсе не из самоуверенности, но видел, как более или менее трудились его товарищи, видел их работу и сравнивал ее с своею; он не мог также не заметить, что с некоторых пор профессора стали обращаться с ним иначе, оказывали ему особенное внимание, чего прежде не делали. Воодушевляясь, слово за словом, Сережа заговорил о возможности получить медаль, поехать в Италию, набраться новых сил, потом вернуться скорей, как можно скорей домой, получить работу и тогда уже, тогда...

– И тогда жениться на Марусе! – вдруг неожиданно dokonчил дедушка, лукаво, но добродушно поглядывая на юношу.

Основываясь на отрывистых фразах, начатых, но недосказанных признаниях Сережи, Алексей Максимыч не сомневался в любви людей; не сомневался в том даже, что оба решили уже вопрос и дали друг другу слово. В душе он этому радовался. Он пристальнее взглянул на племянника и повторил;

– Да, и женишься на Марусе?

– И женюсь на Марусе! – решительно отвечал Сережа, отыскивая глазами девушку, ко-

торая вдруг вспыхнула и закрылась зонтиком.

Алексей Максимыч обхватил рукою ее стан, потрепал ее по плечу и на ходу поцеловал в щеку, при чем Катя и Соня снова запрыгали как козы и начали восторженно бить в ладоши.

Сумерки уже сгущались и полный, румяный месяц выплывал между темными деревьями, когда семья Зиновьева остановилась перед калиткой дачи.

VII

Алексей Максимыч Зиновьев вышел из Академии Художеств в сороковых годах. Удостоенный золотой медалью первого достоинства, он шесть лет провел в Италии. Результатом поездки были: замечательная монография в рисунках палатинской капеллы в Палермо и множество снимков различных церквей и архитектурных деталей. Все это служило вкладом для изучения искусства, но ему, собственно в материальном отношении, ничего не принесло. Правда, для капеллы нашелся за границей издатель; но потому ли, что молодой архитектор не умел заключить условий, потому ли, что печатание действительно обошлось дороже, чем предполагалось, выгода Зиновьева ограничилась одним экземпляром, посланным ему издателем. Он поспешил продать экземпляр за половинную цену, так как в то время крайне нуждался в деньгах. При всей готовности приняться за дело, в течение года он не мог достать работы.

Случаи интересных построек представля-

лись не один раз, но всегда как-то так выходило, что они проскользали мимо и попадали в другие руки. Ему оставалось идти в помощники и чаще всего к товарищам, которые, сколько ему помнилось, не отличались в академии особенными способностями; в свое время он даже многим из них помогал оканчивать программы.

Но жизнь предъявляла свои требования; он соглашался, и, надо прибавить, соглашался без раздражения, потому что врожденное добродушие и простота сердца не оставляли уголка для зависти и едкого самолюбия. Но и здесь даже редко удавалось довести дело до конца и получить за свой труд полное вознаграждение. Главным препятствием были по большей части подрядчики. Одни доставляли подмоченные балки, прося принять их за сухие; другие выставляли двадцать тысяч кирпичей, подсовывая к подписке счет на двадцать пять тысяч, и. т. д. Когда он передавал об этом старшему архитектору, тот приходил обыкновенно в негодование, но, в конце концов, оставлял у себя подрядчика и выказывал полнейшее равнодушие при желании помощ-

ника оставить должность.

Как ни был он терпелив, ему, однако ж, это надоело. Он принялся тогда делать рисунки для мебельщиков и фабрикантов. Любимым предметом Зиновьева был греко-византийский стиль, процветавший в восточной Римской империи между шестым и двенадцатым столетиями; он всегда чувствовал к нему склонность; по-бывав в Италии, он до того им увлекся, что, несмотря на скудные средства, сделал поездку в Константинополь, единственно с целью осмотреть храм святой Софии. Вернувшись в Россию с запасом драгоценных материалов, он постоянно мечтал воспользоваться ими для украшения предметов церковного и гражданского употребления.

Он горячо принялся за работу.

Но и здесь пришлось вскоре разочароваться. Фабриканты и мебельщики исключительно требовали стиля Людовика XVI и рококо. Рисунки Зиновьева, – плод долгого, страстного изучения и труда, – оставались у него по большей части в папке.

Практический человек не стал бы, конеч-

но, идти против течения, понял бы бесполезность борьбы и, вместо того, чтобы убеждать и спорить, поспешил бы удовлетворить требованиям современного вкуса; но практичность не дана была в удел Зиновьеву. Византия, вместо того, чтобы его вывезти, посадила его на мель.

Нужна была случайная выставка в академии, нужен был особый знаток и любитель византийского искусства, чтобы выручить молодого архитектора.

Рисунки его на академической выставке не только имели успех, но получили значение какого-то нового откровения. Он точно не жил до сих пор в Петербурге и вдруг упал с неба на Васильевский остров. О нем заговорили, вспомнили и просмотрели его прежние работы; в целом его направлении найдена была общая мысль, последовательность, новое стремление, которое, при более обширной разработке, должно было привести к замечательным последствиям.

Ему предложена была на казенный счет новая поездка в Италию, но уже с целью специального изучения того рода искусства, ко-

торый он так любил и которому так фанатически поклонялся. Зиновьев, начинавшей уже падать духом, воскрес окончательно. В конце года он уехал, отметив себе заранее два пункта: Равенну и Венецию. Он поселился в последнем городе.

В первые годы академия не могла нарадоваться. Труды Зиновьева получались аккуратно и всякий раз служили предметом величайших похвал. Вместе с тем удивлялись также, что он не возвращается. Прошло еще два года; давно кончился срок казенного поручения: Зиновьев продолжал посылать в Петербург работы даже после того, как остановлено было ему казенное содержание, но сам не трогался с места. Время от времени ему писали из России, делали различный выгодный предложения; он всякий раз благодарил, обещал приехать, но, все-таки, оставался; то надо было кончить рисунки для сочинения, заказанного иностранным издателем, то случайно открывались незнакомые сокровища византийского искусства, которыми необходимо было пополнить накопившиеся материалы. В увлечении он все забывал тогда: и неудачи,

испытанный в Петербурге, и выгодные предложения, которые оттуда посылались. Справедливость требует также сказать, что Италия успела уже произвести на Зиновьева свое засасывающее, притягательное действие.

Последнее было не трудно, так как одним из свойств его природы была способность сильно привязываться; любящее его сердце не только привыкало к людям, но крепко сживалось с неодушевленными предметами, его окружавшими. При одной мысли не видать больше Венеции он опускал голову и начинал отмахиваться, как бы желая скорее отогнать от себя такую возможность.

Так год за годом протянулось без малого девять лет.

Зиновьеву было уже тогда под сорок; седина начинала местами пробиваться на висках и в бороде. Он решился, наконец, возвратиться в отечество. Намерение на этот раз было бы, без сомнения, исполнено, если б снова не задержал непредвиденный случай. Но на этот раз препятствием были не рисунки и увлечения красотами византийского искусства; дело было серьезнее: Алексей Максимыч влюбил-

ся.

До настоящего времени у него были только привязанности; ни разу не прекращаясь по его вине, они оставляли всегда после себя горечь разочарования. Он всякий раз давал себе слово не увлекаться больше, никогда не выдерживал и всегда бранил себя, когда снова приходилось терпеть неудачу. С любовью произошло другое. Он испытывал это чувство в первый раз, испытывал в такие годы, когда оно захватывает уже не шутя, в самую глубь сердца.

Предметом Алексея Максимыча была хорошенькая двадцатилетняя немочка, завезенная в Венецию дюссельдорфским художником. Она жила одиноко, едва перебиваясь на средства, оставленные любовником, который вскоре должен был вернуться на родину. Его призывало туда, – так говорил он, по крайней мере, – наследство; вместе с тем, у него оставались там картины, и представлялся неожиданный случай продать их. Время от времени из Дюссельдорфа приходили письма; в них подтверждалось обещание художника жениться на девушке; но для этого надо было од-

но из двух: или получить наследство, или продать картины; то и другое, к сожалению, замедлялось. Проходили недели, стали, наконец, проходить месяцы, – художник не только не возвращался, но самые письма его сделались редки.

Зиновьев уже не сомневался, что девушка была обманута. Он не открывал ей, однако ж, своих подозрений; его удерживала жалость, а также неуверенность в чувствах девушки к покинувшему ее художнику. Зиновьев добивался только ее доверия; им руководило сначала чувство глубокого сострадания к покинутой; так, по крайней мере, ему казалось; он не подозревал, что сострадание, которое он испытывал, живет бок-о-бок в одном источнике с любовью, и первое чаще всего служит проводником второму. Он утром вставал с одною лишь мыслью: увидеть ее как можно скорее, а вечером, ложась в постель, думал пережить скорее ночь, чтобы скорее дожидаться следующего утра. Быть с ней и видеть ее делалось его насущной потребностью; он беспокоился и волновался, когда ее не было, волновался еще больше, когда был с нею. Так про-

шел еще месяц.

Зиновьев предложил ей однажды сделать прогулку на Лидо. Приехав туда, они уселись дальше от того места, где устроены купальни, — там, где начинается зелень над плоским песчаным берегом, по которому тихо, точно ласкаясь, накатываются зелено-прозрачные волны. День был чудный; все вокруг млело в ровном серебристом сиянии; в нем берег сливался с морем и море сливалось с небом; воздух не двигался; чувствовалось в нем что-то влажное, нежащее, как бархат.

В то утро сердце Алексея Максимыча было особенно полно, он весь был настроен и нервы до того возбуждены, что если б в эту минуту раздалась где-нибудь музыка, он не мог бы удержаться и заплакал. Он приблизился к девушке и сначала тихо, потом с возраставшей восторженностью передал ей все, что давно собирался высказать. Не останавливаясь перед соображениями о прошлом, видя перед собою только ее несчастье и увлеченный мыслью о ее спасении, не соображая о том, что сам перебивался, самому трудно было бороться с жизнью, он предложил на ней же-

ниться.

Девушка слушала его с возраставшим смущением; при последних словах она закрыла лицо руками и принялась так горько рыдать, что в первые две-три минуты Зиновьев положительно потерял голову; он бросился к ее ногам, начал успокаивать, просил простить его. Придя несколько и себя, девушка обратила к нему заплаканное лицо и сказала, что не ему просить у нее прощения, но ему надо простить ее, потому что в ответ на его любовь и великодушие она до сих пор скрывала от него главную тайну своего горя. Обливаясь слезами, она открыла ему, что у нее был ребенок.

– Что ж такое? воскликнул Алексей Максимыч, горячо схватывая ее руку. – Ну... ну, что ж?.. Я буду ему отцом! добавил он, показывая ей улыбающееся лицо, между тем как из глаз его ручьями текли слезы.

Но чувства, волновавшие его, тут же должны были уступить горю, – горю, которого он впоследствии никогда уже больше не испытывал с такой силой. Из дальнейших объяснений открылось, что девушка ценила вполне его чувства, считала его самым честным и

благородным человеком, но при всем том отказывалась принять его предложение, отказывалась от счастья. Он должен был сам понять, могла ли она согласиться, пока оставалась еще надежда возвратить отца ребенку?

Уговаривать, убеждать было бесполезно; Зиновьев сам это почувствовал. Призывая на помощь все силы благоразумия, он решился тогда же вернуться в Россию, как можно скорее. Но что с ней тогда будет? Как оставить ее одну на произвол судьбы? Вопросы эти на минуту поколебали его решимость. Любовь глубоко прошла в его сердце; кроме любви, его постоянно еще влекло к девушке другое чувство – чувство особенной заботливости и отеческой нежности, Последнее внушало ему выход из его положения. Он собрал все накопленные деньги, около тысячи рублей, отправился к знакомому ювелиру и на всю сумму купил драгоценный перстень. В этом виде, думал он, легче будет достигнуть цели; от денег она бы отказалась, но в принятии перстня, особенно когда он дается на память... и только на память!.. не может быть повода к отказу. Он, тем не менее, придумывал различный

хитрые сплетения и лукавые убедительные доводы. В критическую минуту он решился даже солгать, что перстень достался ему от дальней родственницы и он решительно не знает, что с ним делать.

Покончив благополучно с этим делом, он почувствовал значительное облегчение; он мог теперь ехать спокойнее, и начал укладываться.

Алексей Максимыч стоял в раздумье перед кипами разбросанных рисунков, когда неожиданно постучали в дверь. В комнату вошла любимая девушка. Лицо ее было крайне взволновано. Тяжело переводя дух, она подала Зиновьеву письмо, прося прочесть его. Художник изведал, что продал, наконец, картины, и подтверждал обещание жениться и просил ее немедленно ехать в Дюссельдорф, на что и посылал при письме деньги.

Два дня после этого, рано утром, лица, находившиеся на платформе перед поездом, готовым отправиться из Венеции, поглядывали с любопытством на окно одного из вагонов второго класса. В этом окне, точно в раме картины, обрисовалось миловидное лицо моло-

дой женщины; заметив, что на нее обращали внимание, она делала очевидные усилия, чтобы удержаться от слез; но старания ее были напрасны; как только платок, который она поминутно прикладывала к лицу, опускался, слезы снова струились по щекам. Откидываясь за край окна, она поспешно тогда протягивала руку стоявшему перед окном на платформе господину небольшого роста, с сединою в бороде и бакенбардах; лицо его было бледно; на нем, под бровями, резко выделялись красные, опухшие веки. Он всякий раз судорожно как-то схватывал протянутую ему руку, жадно впивался в лицо женщины, начинал шептать какие-то непонятные слова и, в то же время, принимался скоро осенять ее крестным знаменем.

Когда раздался свисток и тронулся вагон, он пробежал несколько шагов, с отчаянием простирая руки к платку, которым махали из окна. Один из служителей бросился было за ним; но он уже возвращался к выходной двери, тяжело склонив голову и опустив руки.

День спустя, Зиновьев покинул Венецию.

Он приехал в Петербург, как в чужой го-

род. Его почти забыли. Была у него сестра замужем за живописцем; его зять принадлежал к группе диких и необузданных художников. Зиновьев и прежде всегда тщательно избегал его. Жалея сестру, он помогал ей, когда мог, и этим ограничивались их отношения.

Алексей Максимыч начинал уже понемногу устраиваться. Неожиданное известие в один миг потрясло его до глубины души. Известие пришло из Ростка, маленького прусского городка, на берегу Балтийского моря. Зиновьев узнал из письма, что любимая девушка была безжалостно обманута и брошена с ребенком; едва живая, она доехала до Ростка, где приютилась у бедной родственницы. В настоящее время она лежала безнадежно больная. Припоминая прошлое Зиновьеву, благодаря его за нее то, что он для нее сделал, она теперь обращалась к нему, как к единственному существу, которому верила; она просила за ребенка, умоляла не оставить его и быть ему отцом, как сам он обещал когда-то.

Алексей Максимыч не принадлежал к числу людей решительных; но здесь он показал

себя другим человеком. Собрав все деньги, какие мог, и взяв паспорт, он отправился, не тратя минуты. Он не смыкал глаз во всю дорогу; перед ним острием стояла одна мысль, он боялся одного только: не застать ее больше в живых. Предчувствия не обманули его; он приехал в Росток на второй день после того, как ее похоронили. Исполнив все формальности касательно ребенка[3], Зиновьев привез девочку в Петербург.

VIII

Ребенку было всего несколько месяцев. С помощью Марьянушки, нанимавшейся у него в кухарках и оказавшейся прекрасной женщиной, Зиновьев вышел, однако ж, из затруднений. Не обошлось, конечно, без намеков и более или менее фантастических предположений на его счет; но он не обратил на них внимания. С таким же равнодушием отнесся он к окончательному разрыву с зятем; последний бранил его теперь на всех углах, выставляя на вид бессердечность человека, который разводит незаконных детей и прикармливает их, тогда как ближайшим родственникам часто есть нечего. Декламируя таким образом, живописец не подозревал, что часто хлеб, который он ел дома, был куплен на деньги шурина; не подозревал он также, что для того, чтобы доставать деньги, шурин трудился не зная отдыха, между тем как сам он сидел э в это время в погребке или лежал на проткнутом диване, предаваясь сладчайшему отдыху.

Еще менее, конечно, приходило ему в голо-

ву, что будет время, когда его собственных детей придется прикармливать и воспитывать тому же шурина. Все это случилось, правда, не скоро, но случилось однако ж. По прошествии нескольких лет, скоропостижно умер живописец; за ним скончалась его жена. После них остались мальчик и две девочки. Пользуясь знакомствами, Алексей Максимыч мог бы, конечно, распределить детей сестры в разные благотворительные учреждения. Но такая комбинация не пришла ему как-то в голову. Он пожалел детей и взял их на свое попечение. Сереже было тогда девять лет, Кате два года, Соня только что родилась. Наследство после сестры, нечего сказать, было обременительно; тем не менее, если бы, год спустя, кто-нибудь предложил Зиновьеву облегчить его участь и взять детей, он, кажется, в первый раз в жизни вышел бы из себя и показал дверь такому человеку. Привязчивость его успела уже сделать свое дело. Одно иногда беспокоило: шум и крик, когда дети разыграются; но являлась Марьянушка, и все снова улаживалось.

Положение Зиновьева, как архитектора,

нельзя было назвать блестящим. Он, по-прежнему, больше рисовал, чем строил; но теперь известность его, как отличного рисовальщика, настолько уже распространилась, что в этой работе не было недостатка. Надо также прибавить, что греко-византийский стиль, которому он так горячо поклонялся, начинал встречать сочувствие, мало-помалу применяться, особенно в предметах для церковного употребления. В одной из главных газет явилась даже статья, в которой прямо указывали на Зиновьева, как на главного проводника такого вкуса. Заказы стали чаще являться.

Работая по большей части дома, он редко встречался с собратами по архитектуре, но даже и при других условиях между ними и Зиновьевым не могло произойти тесного сближения. Ими, главным образом, руководили интерес и практические соображения; мало озабочиваясь вопросами искусства, они брались строить безразлично какое угодно здание, в каком угодно стиле, уподобляясь, впрочем, в этом случае большинству соотечественников, которые, часто ни к чему не подготовленные, берутся, тем не менее, за какую

удобно должность и, несмотря на отсутствие всяких способностей, всегда ухитряются извлечь для себя выгоду; дайте им чугунный котел, резеду, сушеную муху, они и тут сумеют выдавить сок; дайте им затем решето, яйцо и осиновое полено, они и здесь непременно что-нибудь для себя выгадают.

Зиновьев в этом отношении никуда не годился; товарищи совершенно справедливо называли его блаженным *византийцем*. Для него искусство стояло на первом плане; вопросы искусства увлекали его и ими замыкался его горизонт. Несмотря на огромную начитанность и художественное образование, пополненное долгими работами в Италии, он стал бы в тупик, если б ему предложили строить казармы; с свойственной ему скромностью, он поспешил бы отказаться. Лета убелили его волосы, но чудом каким-то сохранили в нем юношескую теплоту сердца, чувствительность ко всему прекрасному, способность увлекаться иногда так сильно, что Сережа, его юный племянник, посматривал на него с удивлением. Так бывало особенно, когда старик начинал развивать свою любимую тему о

том, что бы он сделал, если б на его долю выпал когда-нибудь случай строить церковь в греко-византийском стиле. Боже мой, сколько было накоплено материала! Сокровища лежали в папке! Все бы пошло тогда в дело, нашло бы себе место, увидало бы свет! Тут одно за другим выступали всегда описание чудных равеннских мозаик, красот орнаментации в храме св. Софии, величавого характера св. Марка в Венеции. Разгораясь более и более, Алексей Максимыч кончал все тем, что готов был даром, – да, даром строить, был бы только случай исполнить любимую, заветную мечту целой жизни.

Виноват ли был племянник, который, быв давно учеником академии, разболтал о желании дяди; виноват ли был сам Алексей Максимыч, не стеснявшийся передавать мечты свои посторонним лицам, но мечты эти мало-помалу распространились. В то время, как Зиновьев меньше всего ожидал, желание его осуществилось.

За три года до настоящего времени он получил любезное приглашение пожаловать для переговоров к Ивану Иванычу Воскресен-

скому. Имя Воскресенского в то время было уже всем известно. Зиновьев не сомневался, что его будут просить, – как это уже не раз случалось, – принять даровое участие в какой-нибудь работе с благотворительной целью. Догадки его, отчасти только оправдались; дело действительно шло о благотворительном учреждении, но заключалось в сооружении при нем церкви на пожертвованные деньги. Пока речи еще не могло быть о характере архитектуры; требовались только проект, планы и смета.

Алексей Максимыч не удовольствовался таким требованием; так как материала было у него заготовлено хоть на пять церквей, – стоило только подобрать рисунки и привести их в известный масштаб, – он присоединил к назначенной работе целую коллекцию раскрашенных детальных частей и разрезов.

Хотя Воскресенский ровно ничего не понимал в искусстве, он ахнул, однако ж, когда Зиновьев раскрыл перед ним свою папку. Его особенно поразило здесь не столько звание и воодушевленная, мастерская работа художника, сколько быстрота, с какою все это было из-

готовлено.

Всякий раз, как Иван Иванович встречался с предметом, о котором не имел понятия, – а это случалось весьма часто, – он никогда не высказывал своего мнения, но выжидал всегда, чтобы кто-нибудь другой прежде высказался. Он незаметно наводил разговор на незнакомый предмет, давал возможность исчерпать его до дна и тогда уж возвышал голос. Так было и теперь. Узнав, что стиль церкви «греко-византийский», он поощрил Зиновьева к дальнейшим объяснениям. Прислушиваясь к рассказам о красотах св. Софии и величии Равеннского собора, Иван Иванович старался запомнить самые характерные выражения; они были необходимы ему, так как, прежде всего, он думал представить рисунки с-глазу-на-глаз графу и графине. Он просил архитектора оставить ему его работы на один день для «соображений», как он выразился.

Несколько дней спустя решено было, за подписью графа и членов совета, передать постройку Зиновьеву.

Когда слух о том распространился между архитекторами, многие из них пришли в

негодование; по их мнению, надо было назначить конкурс, выбрав жюри из лиц их же кружка. Другие, лукаво подмигивая друг другу, положительно утверждали, что в таком решении греко-византийский стиль был решительно ни при чем; что даже самый факт дешевой сметы Зиновьева против сметы, поданной для той же постройки архитекторами, не играл здесь решительно никакой роли; все это были мелочи, перед которыми[4] не остановился бы практический Иван Иваныч. Все дело, – так они утверждали, – было гораздо проще; оно заключалось в наивности *блаженного византийца*, – наивности, которую Иван Иваныч мог эксплуатировать сколько угодно, пока не явится другой, еще более наивный, или такой, который ловко подъедет к Ивану Иванычу и сам проведет его. Надо полагать, все это больше говорилось из зависти,

Как бы там ни было, с наступлением весны Алексею Максимычу открыт был кредит, и он приступил к постройке.

IX

В субботу утром Алексей Максимыч отправился на постройку раньше обыкновенного. Он торопился вовсе не потому, что в этот день обещали приехать Воскресенский и его ассистенты Бабков и Лисичкин. Посещение этих лиц не беспокоило его, но и не радовало. Художников он мало знал; они, притом, не будучи ему сочувственны, не внушали ему уважения своими работами и мнения их не имели в глазах его значения. Иван Иванович ничего не понимал в искусстве; он был в нем, как лососина на цветочной выставке.

Другая причина привлекала Зиновьева на постройку: внутренность церкви только накануне совсем освободилась от лесов; он успел уже вчера выяснить себе в общих чертах, насколько исполнение отвечает задаче; но работы кончились поздно: все-таки не было возможности дать себе, как бы хотелось, полного, сознательного отчета в художественном впечатлении целого; в придачу, день накануне был пасмурный. Он спешил сегодня, рассчитывая воспользоваться ясным

солнечным утром.

Церковь была пуста, когда вошел в нее Алексей Максимыч; маленькую дубовую дверь в главном портале отворил ему сторож, старый солдат, помещавшийся с женою и детьми в подвальном этаже, предназначенном для служителей и их семейств, в главном корпусе будущего центрального благотворительного учреждения. Зиновьев отпустил его, сказав, что присутствие его у двери потребует не раньше двенадцати часов, так как только к этому времени придут гости.

Алексей Максимыч остался очень доволен тишиною, его окружавшей; она позволяла сосредоточиться и ясно определить впечатления.

Заняв место у главной входной арки, откуда глаз свободно обнимал всю внутренность церкви, старый архитектор несколько минут простоял в немом неподвижном оцепенении, стараясь сосредоточить свое внимание. Сердце его билось; он почувствовал на лице жар от охватившего волнения. Мало-помалу черты его успокоились, дыхание стало свободнее. Он не хотел себя обманывать: час дня и

выгодное освещение, конечно, прибавляли к хорошему впечатлению; лицо его, тем не менее, оживилось улыбкой; в груди его встрепенулось давно неиспытанное чувство и подступило ему к сердцу; ноздри его задвигались, ресницы прищурились и что-то едко защекотало его в углах глаз; не успел он прикоснуться к ним пальцами, как две слезинки побежали вдоль щек, быстро расплываясь в мелких морщинках.

Было всего девять часов утра; косые лучи солнца, перехваченные тонкими колоннами галереи второго этажа, обдавали внутри здания всю левую его часть, оставляя другую половину в полусвете, смягченном отражением светлых стен и пола, собранного в клетку из белого и серого камня. В этом теплом отражении, — но только темнее его тоном, — круглились боковые арки и своды, усыпанные золотыми звездами но синему полю. Внизу, вокруг всей церкви обходил пояс, гладко оштукатуренный под порфир, красно-бурого цвета; отсюда начиналась живопись; стены сплошь были ею покрыты; Алексей Максимыч собрал здесь все, что было лучшего и характерного в

древне-греческом искусстве; отдельные лики святых, цельные изображения, сцены из священного писания рядами наполняли здание, выделяя свои очертания и краски на золотом фоне, разделанном под мозаический набор, в верхних рядах живопись казалась уже совсем темною; золото, наоборот, светлее выказывалось, приближаясь к потолку, выведенному плоско, с поперечными балками, расписанными красками и золотом, как в древних базиликах. Внутренний вид церкви особенно оживлялся цветным орнаментом, писанным также на золоте; он служил рамкой для стеной живописи, огибал все фризy, арки и ребра сводов, упиравшихся на золоченых капителях с расписанными колоннами.

В этом блеске красок и мерцании позолоты ничего не было поражающего пестротой; Алексей Максимыч больше всего этим тревожился; он мог теперь успокоиться: мастерское распределение красок и золота нигде не нарушало гармонии целого; все соединялось как нельзя удачнее и производило тот светлый, торжественный, но спокойный аккорд, которого так добивался художник.

Внимание его перешло тогда к алтарю – предмету особенной заботливости и попечения; но там, по-видимому, также все отвечало мысли строителя; там, в углубленном полукруглом пространстве, нарочно так рассчитанном, чтобы он оставался в полусвете во всякое время дня, величественно выступали строгие изображения апостолов и Спасителя, восседающего на троне; изображения эти, колоссального размера, писаны были во всю высоту стены, как в палатинской капелле в Палермо, и также на золотом фоне под мозаику; местами, в глубине, золото принимало цвет густого янтаря, за которым как бы поставили свечку; местами отражение соседних стен выдвигало тот или другой лик, сообщая углубленным частям алтаря тот таинственный оттенок, который еще в рисунках мерещился художнику.

Лицо Алексея Максимыча омрачилось тогда только, когда глаза его встретились с иконостасом. Последний действительно не удался. Но крикливая позолота и живопись слишком уже резко били в глаза и противоречили характеру других частей здания, чтобы мож-

но было приписать такую ошибку архитектору; так, по крайней мере, должен был подумать каждый благомыслящий человек. Алексей Максимыч мало, однако ж, этим утешался; иконостас был для него тем же, чем было бы для матери бельмо или кривая нога у любимого детища. Но что было ему делать? В первоначальном проекте он хотел его оставить резным в натуральном цвете дерева; попечительный совет не допустил до этого, настоятельно требуя позолоты; Иван Иванович, передавая волю совета, сказал, что таково было желание купца, пожертвовавшего деньги; неисполнение такого желания легко могло охладить рвение других жертвователей. То же самое произошло с образами. Напрасно, чуть не со слезами на глазах, убеждал Зиновьев, что этим все дело будет испорчено, что образа эти, своими рутинными формами и кондитерской живописью, нарушат гармонию целого, – попечительный совет, через посредство Ивана Ивановича, снова поставил вопрос ребром; образа Лисичкина были им пожертвованы и, во что бы ни стало, необходимо было их принять, чтобы поощрить жерт-

вователя; образа, кроме того, как жертвованные, в значительной степени сокращали расход; архитектору было, конечно, все равно; имея в виду только красоту и гармонию, он готов был эгоистически принести им в жертву денежные интересы; попечительным советом, наоборот, управляла широкая общественная задача, заставлявшая каждого из его членов смотреть на пожертвованные деньги, как на свои собственные. Алексей Максимыч поневоле должен был покориться. Но не один попечительный совет отравлял ему сладость труда; чего стоила ему эта постоянная борьба против Ивана Ивановича, который, хотя мягко и вкрадчиво, но всегда назойливо старался примазать к постройке разных лиц, не имевших ничего общего с архитектурой и искусством. Цель Воскресенского была весьма понятна: ему хотелось доставить этим лицам случай получить награду впоследствии; но архитектору было не легче от этого. Зиновьев для своей цели горячо желал призыва суздальских живописцев; Воскресенский восставал против такого желания; согласие пришло после того, как Зиновьеву удалось успокоить

Ивана Иваныча, нравственное чувство которого возмущалось тем, что все иконописцы горькие пьяницы и непристойно допускать их к делу благочестия. Суздальцы действительно пили мертвую; хлопот с ними было немало; но они, по крайней мере, безусловно повиновались указаниям, и живопись их отвечала характеру церковной архитектуры. Сколько раз, в самое кипучее время, приходилось отрываться от дела, чтобы исполнять частные даровые работы, делать рисунки для ковров, окладов, хоругвей, и т. д., – и все это только для того, чтобы поладить с Воскресенским, желавшим угодить разным благотворительницам, попечительницам и председательницам, которые страстно хотели жертвовать, но так, однако ж, чтобы жертвы обходились как можно дешевле.

В прошлом году Алексея Максимыча постигло горе, которое чуть было совсем его ее сокрушило. Вдова бывшего товарища по академии упростила его взять и число помощников сына; молодой человек прекрасно учился, отлично знал бухгалтерскую часть и, быв ее единственной поддержкой, находился теперь

без места. Зиновьев сжалился, обласкал молодого человека и, заметив в нем старание и деятельность, мало-помалу, с свойственной ему доверчивостью, поручил ему вести приходо-расходные книги и рассчитываться с рабочими. Кончилось тем, что молодой человек обобрал его, как липку; в один прекрасный день в кассе не достало, – шутка сказать! – целых двух тысяч. Алексей Максимыч был близок к отчаянью. Что было делать? Подать жалобу в суд? Донести до сведения совета? Результатом была бы огласка; его доверчивость объяснили бы небрежением, нерадением к делу; как строитель церкви, он рисковал возбудить подозрения еще худшего сорта. Его могли лишить постройки, потому что лица, покровительствуемые Иваном Ивановичем, конечно, не допустили бы воспользоваться удобным случаем.

Движимый такими мыслями, Зиновьев решил оставить дело втайне; как ни горько было, он поспешил пополнить украденную сумму из скопленных трудовых денег. Никто ничего не узнал, кроме вдовы и самого вора, который, впрочем, перенес катастрофу не

только равнодушно, но даже с некоторым достоинством; Алексей Максимыч не раз потом встречал его гуляющим с папироской и беспечно помахивающим тросточкой.

Зиновьев не вспомнил о врагах своих, подрядчиках, не перестававших ему насаливать в течение этих трех лет. Боже мой, что значили эти неприятности перед теми, какие пришлось испытать, особенно в последнее время, когда между ним и Воскресенским начались какие-то лицемерные отношения и, наконец, пошло явное недоброжелательство, сопровождавшееся, что ни шаг, новыми придириками; когда всякая мелочь должна была представляться попечительному совету и членам на обсуждение, от них переходить к Воскресенскому, от Воскресенского переходить на утверждение графа, при чем каждое из этих лиц, не отвечая ни на что точно и определенно, считало долгом заметить: «Что тут... как будто... было что-то... не совсем так... и лучше бы прибавить: а здесь, хотя и было ладно, но... казалось как будто... надо было что-то убавить...»

Но все эти воспоминания, случайно вы-

званные в памяти старого архитектора, промелькнули мимо, не возбуждая в ней ни желчи, ни раздражения. Он находил себя достаточно вознагражденным уже тем, что заветная мечта стольких лет не осталась праздною мечтою; она осуществилась, получила осязательную, желанную форму, дала удовлетворительный художественный результат; Алексей Максимыч недаром, стало быть, прожил; труды его не пропали; имя его останется...

Зиновьев был слишком скромн, чтобы придавать своей работе преувеличенное значение. Он трудился много, трудился от всего сердца, с любовью, с увлечением, но относился к своему труду просто, не священнодействуя или не кутаясь в плащ глубокомыслия, как теперь часто делают художники, приступая к портрету чиновника или изображению мужичка, тупо созерцающего древесный пень.

Не страдая излишком самолюбия, он не поддавался самообольщению. Он знал очень хорошо, насколько в построенной им церкви неуместно было гордиться самобытным творчеством. Все здесь было не им выдуманно, дав-

но создавалось веками и встречалось на множестве памятников греко-византийской эпохи. На долю его выпало только собрать и соединить материалы.

Но, рядом с этим, они представляли совершеннейшие образцы, и выбором их несомненно должны были управлять вкус и знание; простой смысл говорил здесь о трудностях, которые надо было превозмочь, чтобы распределить разрозненные части, связать их общим смыслом, приспособить их к настоящей задаче; здравый рассудок указывал, что тут трудом одним ничего не возьмешь: нужно было художественное дарование, нужен был талант, чтобы слить эти части в одно целое и привести их в полное, гармоническое сочетание.

Алексей Максимыч мог бы повторить себе то же самое и гордо приподнять голову; он ограничивался тем, что потирал руки и мягко, добродушно улыбался; но и того чувства, которое наполняло теперь согретое сердце, довольно было, чтобы вытеснить тяжелые воспоминания всех неудач, разочарований, обид и горьких испытаний. Все это прошло,

слава Богу; оставалось утешаться и радоваться, именно радоваться, потому что перед глазами сияло во всем блеске произведение, – плод собственной мысли и труда, – а на душе было также светло, благодаря чистой совести и честным побуждениям.

В таком счастливом настроении духа находился старый архитектор, когда в глубине церкви зашумела дверь и в светлом ее пятне показались сначала Иван Иваныч, а вслед за ним Бабков и Лисичкин.

Алексей Максимыч пошел им навстречу.

Х

Не успел он сделать трех шагов, как уже издали слышался разнеженно-умиленный голос живописца:

– Здравствуйте, дорогой, – дорогой и многоуважаемый Алексей Максимыч. Честь вам и слава! Честь и слава... Ах, какая прелесть!..

Зиновьев приветливо раскланялся с гостями и всем пожал руки; обратясь затем к живописцу, он только прибавил:

– Погодите хвалить; дальше, может-быть, еще и не понравится...

– Нет, уж извините: отсюда уже вижу, какое наслаждение нас дальше ожидает! – с сияющим видом заговорил Лисичкин, придвигаясь вместе с другими к середине церкви. – Что я говорил? Как есть – праздник для глаз; сласть просто!

При этом он даже зачмокал губами, как бы действительно ощутил сладость во рту.

– Какой блеск! Сколько характера и, вместе с тем, какая везде гармония! – продолжал Лисичкин, останавливаясь в восторженном экстазе, но на самом деле поглядывая сбоку на

свои образа в иконостасе.

Удовлетворив себя с этой стороны, он неожиданно принял намерение расцеловать Зиновьева, но серые его глазки встретились с прищуренными глазами Бабкова, и он остановился; восторг должен был, однако ж, чем-нибудь выразиться; он поспешно завладел рукою старика и, нежно пожимая ее между мягкими своими ладонями, снова стал обдавать его медом и елеем.

Бабков, между тем, продолжал молчать. Он всегда завидовал «находчивости лукавого блондина», умевшего притвориться к случаю, пригнать к нему подходящие слова, лицо и даже голос; Бабков, как известно, был человек прямой, основательный; прежде чем что-нибудь сказать, ему надо было осмотреться, взвесить, обсудить дело. Он ограничился пока тем, что осклаблялся во весь рот, когда встречался глазами с лицом Зиновьева, при чем показывал ряд крепких зубов, которые хотя никогда не чистились, – но белели между его толстыми губами.

Ивану Ивановичу нечего было высказывать своих впечатлений. Следя за постройкой

и наезжая сюда время от времени, он давно успел вывести свои заключения. Он был, притом, умственно и нравственно озабочен: в три часа надо было ехать в заседание, временно председательствовать и провести весьма сложный вопрос. Кроме того, ему сегодня как-то нездоровилось; а тут еще эти сырые степы новой, только что отстроенной церкви, сжатый воздух, пропитанный запахом извести и красок! Несмотря на резиновые калоши, он почувствовал холод в ногах, едва переступил порог паперти. Все это, естественно, не могло способствовать хорошему расположению духа. Бережливо кутаясь в теплое пальто с приподнятым воротником, углубляя подбородок в шерстяное кашне, он с нахмуренным видом следовал за художниками, упрашивая их идти вперед и не стесняться его присутствием.

Беседа их, по-видимому, мало его занимала; уловляя на лету восторженные восклицания Лисичкина, он направлял в его сторону белые зрачки свои, смотревши выше очков, и что-то похожее на улыбку появлялось тогда на губах его. Остальное время черты Ивана

Иваныча сохраняли унылую неподвижность; на вытянутом, болезненно-золотушном лице ничего нельзя было прочесть, кроме скуки и того брезгливого выражения, какое встречается чаще всего на лицах людей, заседающих в комитетах и вынужденных возвращаться к вопросам, давно разрешенным и подписанным.

Осмотр постройки продолжался около часу.

Воскресенский присоединился к общей группе, когда художники возвратились к прежнему месту, на середину церкви.

В эту минуту голоса присутствующих неожиданно смолкли. Всеми овладела вдруг не то неловкость, но скорее какое-то колебание, точно каждый хотел сказать что-то, но не решался начать. Воскресенский, державшийся похвального обычая выслушивать чужие мнения, прежде чем высказать собственные, вопросительно посматривал на Лисичкина и Бабкова; те, в свою очередь, поглядывали на Воскресенского, выразительно показывая глазами, что прежде желали бы услышать его слово.

Молчаливый, но полный телеграфного значения обмен этих взглядов, хотя и прошел незаметным Зиновьева, но молчание присутствующих, видимо, его стесняло.

– Прекрасно-с... Очень хорошо-с, разрешился наконец, Иван Иваныч, произнося слова носовым голосом и умышленно их растягивая, с тем успеть обдумать то, что хотел сказать. – Мне присоединиться к господам художникам, коллегам вашим, и повторить вместе с ними: прекрасно-с.

– Мне остается только радоваться, весело возразил Зиновьев.

Иван Иваныч медленно снял замшевую перчатку с правой руки и подал ее старому архитектору.

– Об одном разве пожалеть можно, прибавил он, отводя глаза в другую сторону. – Я, впрочем, уже прежде сколько раз упоминал вам об этом, уважаемый Алексей Максимыч!..

– Скажите, живо подхватил Зиновьев, – вы знаете, я всегда исполнял ваши желания и советы; время еще есть: можно исправить.

– Нет, то, что я хотел сказать, не касается вовсе искусства; я выражаю только сожаление.

ние, что раньше не поспело... Освящение церкви, вы знаете, назначено было к Святой; мы теперь в июне... и... и все еще не готово!.. Посмотрите-ка, сколько еще остается работы...

Работы оставалось совсем не много: надо было, на входе в церковь, достлать пол, который пока забран был досками; оставалось положить ступени для соединения алтаря с церковью и украсить их балюстрадой; последняя была, впрочем, совершенно готова и частями сложена по углам; на одной из нижних боковых арок недоставало также расписного орнамента. Но все это не стоило даже упоминания и если кого-нибудь надо было винить в этом, во всяком случай не архитектора, а скорее Воскресенского, который в последние три месяца всячески старался задерживать окончание постройки. Кредит Алексея Максимыча настолько был вдруг сокращен, что он едва мог рассчитаться с поставщиками материала и рабочими.

Как ни прискорбно было старому архитектору, он терпел, – терпел, ободряя себя надеждой, что совет[5] и сам Воскресенский поймут,

наконец, всю несообразность останавливать работы перед самым их окончанием. Старания его изведать настоящие причины такого распоряжения остались бесплодны. Ему постоянно повторяли: «денег нет, подождите!» И, между тем, его же теперь обвиняли!

Слова Воскресенского задели его за самое больное место. Он на этот раз уже не выдержал. Сначала сдержанно, но потом вдруг разгорячаясь, так что краска выступила на щеках, он высказал Ивану Иванычу все то, что давно накипело в его душе.

Как только начались эти объяснения, Бабков и Лисичкин осторожно отошли в сторону. Показывая вид, что осматривают детали украшений, оба начали производить в воздухе фантастические пояснительные жесты; они продолжали упражняться пантомимой до тех пор, пока не рассудили, что пора поспешить на выручку Ивану Иванычу.

Он поблагодарил их взглядом; но глаза его тут же опустились и выражение смирения, с каким истинному христианину подобает выслушивать горечь несправедливых обвинений, изобразилось в чертах его.

– Вот, господа, упавшим голосом проговорил он, обращаясь к подошедшим художникам, – оказывается, меня теперь винят в том, что церковь не поспела к сроку...

– Я не говорю, что вы собственно виноваты, подхватил Зиновьев, заметно смягчаясь, – я повторяю, что так как все от вас зависело и зависит, вы могли бы больше содействовать...

– Позвольте, многоуважаемый Алексей Максимыч, продолжал Иван Иваныч тихим голосом, отвечавшим кроткому выражению его лица, – вам не угодно вникнуть в одно обстоятельство; скажу более; вы его совсем забываете; если мне было поручено заведывание постройкой, то это потому собственно, что так было угодно совету... Здесь совет хозяин... Власть моя ограничена... На каждом шагу, встречаются обстоятельства, которым я, скорбя душевно, – именно душевно, – должен покоряться... В деле этой постройки[6] мною, как всегда, впрочем, руководило одно чувство: желание добра и пользы!.. Хотя мы знакомы не со вчерашнего дня, Алексей Максимыч, но, по-видимому, вы меня еще не знаете, подхватил он, как бы растроганно и с сожалением.

нием. – Я вам помешал! Я не содействовал! И в чем же? В достижении богоугодной, благочестивой цели?!. Позволю себе сказать: я бы желал видеть вас более справедливым! Если я позволял себе иногда торопить вас; если сегодня еще высказал сожаление, что церковь не готова, то и здесь, поверьте, скорее действовал в видах вашего же собственного интереса... Граф чуть ли не каждый день спрашивает и всякий раз сердится...

– Желал бы я посадить его на мое место; посмотрел, что бы он тут сделал! воскликнул Зиновьев, снова начинавший горячиться.

– Успокойтесь, успокойтесь, многоуважаемый Алексей Максимыч, вмешался Лисичкин, – вы должны, вы можете быть спокойны! Вы поставили себе памятник! Мы сейчас говорили об этом: прелесть! Честь вам и слава! Честь и слава! подхватил он, овладевая рукою старика и нежно пожимал ее между ладонями.

– Полноте, батенька, уговаривал со своей стороны Бабков, – я человек простой, никаких этих закрутасов не знаю; прямо скажу: отменно, отменно отличились! Соорудили, так ска-

зять, в честь свою... Какой тут граф? Тут вы, батенька!

Иван Иваныч, желавший прекратить как можно скорее объяснения, вынул часы и прибавил, стараясь придать своим чертам смиренно-грустное выражение:

– Именно сожалею, что вам угодно было объяснить себе таким образом слова мои... Единственным желанием моим всегда было... и будет – угождать вам... Я постарался бы окончательно оправдать себя в глазах ваших, но, к сожалению, должен теперь торопиться; у меня сегодня заседание в три часа... Остается искренно поблагодарить вас за удовольствие, которое вы нам доставили; говорю вам потому, что господа художники такого же мнения...

– Еще бы! Повторяю: честь и слава Алексею Максимычу! Отменно, батенька, спасибо! – заговорили в одно время Бабков и Лисичкин, подступая к Зиновьеву, который провожал Воскресенского.

На паперти Иван Иваныч снова взглянул на часы и остановился.

– Перед уходом позвольте мне еще раз по-

вторить вам, многоуважаемый Алексей Максимыч: вы, я вижу, меня еще не знаете... не знаете! промолвил он, как бы глубоко сожалея об этом. – Если бы вы меня лучше знали, поверьте, вы были бы ко мне справедливее... Он хотел еще что-то сказать, но опять вздохнул и, пожелав присутствующим всего хорошего, начал осторожно спускаться по ступенькам паперти. Бабков и Лисичкин хотели было поддержать его, но он смиренно поблагодарил их, прибавив: «У меня есть свободное место, господа; не угодно ли кому-нибудь?»

Как живописцу, так и Бабкову желательно было воспользоваться предложением; но они переглянулись и поняли, что тот, кто займет место, легко может увлечься случаем и изменить другому. Не желая, вероятно, нарушать прямоты взаимных отношений, они предпочли отказаться; поблагодарив Ивана Ивановича, оба сели рядом на дрожки и, подхватив друг друга за талию, покатали вслед за коляской.

XI

Заседание, назначенное в три часа и ожидавшее Воскресенского, не переставало его озабочивать во все продолжение дороги. Он привык председательствовать; но дело было не в этом: ему предстояло сегодня провести вопрос, принадлежащий к числу так называемых деликатных и поэтому самому весьма затруднительный.

В делах общества «Спасительного влияния труда для преждевременно погибших» обнаружилось на днях большие беспорядки; требовалось, во что бы то ни стало, принять скорее энергические меры и придти ему на помощь. Участие здесь Ивана Иваныча было частью против его воли, вынужденно, частью обязательно, — обязательно в том отношении, что помянутое общество было ему не совсем чужое. Он изобрел его года полтора тому назад по просьбе княгини Любич, двоюродной сестры графини Можайской.

Мысль княгини была прекрасная: ей хотелось дать какое-нибудь занятие и сколько-нибудь развлечь старшую дочь, тосковавшую

после потери любимого мужа. Но вдова скоро утешилась, выйдя вторично замуж, и обязанность председательницы взяла на себя вторая дочь княгини, госпожа Турманова.

Сначала Воскресенский принял живое участие в судьбе возникшего общества: старался руководить светской неопытной председательницей, сделал несколько полезных предложений, попробовал поместить двух своих знакомых – одного в качестве секретаря, другого в качестве кассира; но председательница слушала его рассеянно, к предложениям его отнеслись невнимательно, знакомым его отказали, избрав вместо них каких-то ветрогонных. При саном начале общество так уже складывалось, что, на опытный глаз Воскресенского, не предвещало в будущем ничего прочного. Его составляли в большинстве светские молодые люди и молоденькие дамы, – *diabls roses, diabls bleux*, как они сами себя прозвали после первого замаскированного бала, данного в пользу общества: на этом бале одна половина дам условилась быть в розовых платьях, другая половина в голубых. В числе женского пола находилось также

несколько богатых купчих и банкирских жен, давно горевших желанием втереться в круг большого света и искавших для этого удобного случая; их принимали и терпели потому, что они давали много денег. В целом своем составе общество представляло скорее светский кружок, в котором сущность дела служила только предлогом для увеселений, маскарадов, домашних спектаклей, балов и базаров; главные деятели держали себя так исключительно, что когда в число членов попадало лицо, не принадлежавшее светскому кругу, оно уподоблялось тяжеловесному индюку, случайно забежавшему в клетки прыгающих и щебечущих птичек.

Серьезному человеку, очевидно, не могло быть тут места; Иван Иванович искал уже благовидного предлога, чтобы отказаться от звания члена, когда в первых числах июня председательница, госпожа Турманова, неожиданно собралась за границу; ближайшие ее помощники, секретарь и казначей, уехали уже прежде, оставив ей на руки кассу и книги. Не зная решительно, что делать с этим добром, г-жа Турманова передала его княгине-матери

и, ничего не объяснив ей основательно, уехала в Баден-Баден, куда настоятельно призывали ее письма друзей.

Княгиня-мать, не зная также, что делать с добром общества, обратилась за советом к двоюродным сестре и брату, графу и графине Можайским.

Известие о неожиданном отъезде двоюродной племянницы и ближайших ее помощников, так легкомысленно бросивших вверенное им общество на произвол судьбы, привело графа в сильное негодование. Он объявил, что такой поступок неизбежно навлечет нарекание со стороны членов общества, – нарекание тем менее желательное, что коснется лиц высшего круга, – и когда же? – когда именно следует поддерживать этот круг в видах известного принципа. «Если к этому, – строго прибавила графиня, – милые друзья Зизи[7] и сама она что-нибудь напутали в делах этого общества, – предположение более чем вероятное, – и если кому-нибудь случайно попадет на глаза эта путаница...» – но графиня не dokonчила при виде испуга на лице двоюродной сестры; ей не хотелось также

окончательно расстраивать брата, начинавшего с первых ее слов выказывать знаки возрастающего неудовольствия.

Решено было тут же послать курьера за Воскресенским. «Cest homme!» – воскликнул граф, мгновенно ободряясь. По его мнению, один Иван Иванович мог дать совет, мог выручить, если б в самом деле эти ветрогоны что-нибудь напутали. Стоило передать Воскресенскому оставленные бумаги, попросить его просмотреть их, взять на себя во время отсутствия Зизи роль председателя, – не о чем было бы больше беспокоиться. Преданность его графу и графине известна; на знание дела и скромность также можно положиться.

Как только приехал Воскресенский и узнал, в чем дело, лицо его приняло печальное выражение; ему предлагали то именно, чему он давно не сочувствовал, от чего скромно желал удалиться; при виде его лица предчувствие чего-то недоброго невольно закралось в душу графа, и он не шутя встревожился. Просьба его стала еще настоятельнее; к нему присоединились графиня и двоюродная ее сестра, графиня Любич. Все трое приня-

лись уговаривать, придавая просьбе характер личного одолжения. Решимость Ивана Ивановича поколебалась; он согласился. Ему тотчас же переданы были дела и деньги общества.

Первым его распоряжением было пригласить двух доверенных лиц – одного для временного исполнения должности бухгалтера, другого временно в должность секретаря; затем им было поручено ознакомиться подробно с делами.

В тот самый день, когда Иван Иванович возвратился домой на дачу после приемного утра графа, он застал у себя этих двух лиц. Они сообщили, что в кассе общества открылся значительный недочет. Тут, очевидно, не было никакого злого умысла, никто деньгами, конечно, не воспользовался; всему быть виноват беспорядок в ведении дел, потому что такого сумбура, как тут, им никогда еще не приводилось видеть: казначей, какой-то г. Авениров, выдавая деньги, часто забывал их вписывать в расход; в книгах секретаря, барона Фук, – там, где требовалось вписывать журнал заседаний, – попадались пробелы на целых страницах; расписки, – там, где они

встречались, — были большею частью без числа и номера; на многих значился расход, но не надписано было, за что были выданы деньги, — словом, путаница была совершеннейшая; в ней участвовали все решительно, начиная с самой председательницы и кончая последним членом комитета, г. Чиндаласовым, тем самым, который, не далее как нынешнею весною, сломал себе два ребра на царскосельских скачках. В конце концов, обнаружился тот факт, что в кассе невозможно было досчитаться трех тысяч.

Иван Иваныч ожидал этого; предчувствия его не обманули.

Дело главным образом неприятно было в том отношении, что оно могло огласиться, могло бросить тень, возбудить недоверие к ведению дел в других благотворительных обществах, находившихся под его управлением и покровительствуемых графом. Он решился ничего не говорить до поры до времени графу и графине, зная вперед, что оба подымут тревогу: немедленно напишут двоюродной племяннице; та ответит, напишет своим приятельницам; те разнесут весть и кончится все

неблаговидной историей, к которой, пожалуй, приплетут и его имя. Он предпочел исправить дело домашним образом.

Когда, несколько дней спустя, граф осведомился о том, в каком положении дело, Иван Иваныч спокойно возразил, что пока ничего не нашел особенного, кроме некоторой путаницы.

– Убедительно прошу вас, Иван Иваныч, не выпускать дела из рук ваших, пока оно не будет приведено в строжайший порядок, сказал граф торопливо и озабоченно. – Прошу вас сделать это в личное для меня одолжение... Все мы будем вам благодарны!

Воскресенский, успевший уже составить себе план действий, поспешил успокоить Графа.

В числе различных предположений и проектов, сочиняемых Иваном Иванычем для пользы страждущего человечества, находился один, которому придавал он особенное значение. Многолетняя практика привела его к убеждению, что лучшим способом приобрести богатых жертвователей и щедрых членов для благотворительных обществ было бы

дозволить этим обществам раздавать красивые серебряные и золотые значки или жетоны в виде кружков, или еще лучше звездочек с эмалевой надписью на одной стороне, а на другой – какой-нибудь интересной аллегорией, например, фигурой милосердия, держащей в правой руке рог изобилия, между тем как левая рука, не желая знать, что творить правая, усиленно прячется за спину. О ношении такого знака в петлице нечего было думать. Достаточно было бы прицеплять его к часовой цепочке или носить при себе в жилетном кармане и показывать при встрече знакомым: «Смотрите, дескать, что у меня есть, что я получил!..»

Лелея свою мысль и приберегая ее для важного случая, Иван Иванович решился ею пожертвовать в пользу общества *Спасительного влияния труда для преждевременно погибших*. Он делал это скрепя сердце, движимый не столько врожденным великодушием, сколько желанием лишней раз доказать свою преданность графу и членам его семейства.

Выхлопотать позволение издать жетоны было не трудно; несравненно труднее было

воспользоваться позволением в летнее время, когда в городе никого почти не было. Охотники до жетонов, конечно, не уйдут; придет зима, – они сами собою явятся; но пока все это в будущем; в настоящем требовалось сейчас же найти те три тысячи, которых недоставало в кассе. Откуда взять эти деньги? Как помочь горю? – «Можно», ответил без замедления находчивый ум Воскресенского. По его мнению, оставалось одно средство: заказать немедленно тысячу жетонов; каждый обойдется обществу, положим, в пять рублей. Но стоит призвать изведенного Блинова, переговорить с ним с глазу на глаз, – и отыщется ювелир, который, за почетное вознаграждение, согласится принять заказ, подпишет счет в пять тысяч, но, в сущности, исполнить его менее чем за половинную цену. Такие примеры уже неоднократно бывали. В результате получатся, следовательно, требуемый три тысячи. Придет зима, жетоны пустятся в оборот; общество не только возвратит себе истраченную сумму, но даже обогатится со временем.

Оставалось еще одно затруднение: собрать

в июле месяце достаточное число членов общества, чтобы могло состояться заседание. Относительно того, чтобы получить согласие членов, Иван Иванович не очень беспокоился; он считал всегда июль месяц самым удобным для проведения трудных вопросов; уже одно то, что члены собираются в небольшом количестве, в общем их настроении чувствуется всегда больше расположения к буколке и даже лени; споров, препирательств никогда почти не бывает; многие, обдаваемые потом, засыпают при начале дебатов; других соединяет одна общая мысль: как бы только скорее отделаться. Случалось иногда, что никто не придет, и заседание не могло состояться; но в настоящем случае вряд ли можно было этого ожидать; все меры были заблаговременно приняты. Иван Иванович, тем не менее, чувствовал томление под ложечкой и лицо его выражало озабоченность. Он ободрился, увидев несколько карет и дрожек у подъезда дома, где должно было происходить заседание. У входа в верную комнату он встретился с поджидавшим его Блиновым, протянул ему руку и, в то же время, бросил взгляд в сосед-

ную комнату, двери которой были открыты. Десятка полтора дам и мужчин, разделившись на группы, сидели и прогуливались по обеим сторонам длинного стола, покрытого синим сукном, с правильно разложенными на нем листами бумаги и карандашами; на дальнем конце доверенные лица Ивана Иваныча, исполнявшие должности секретаря и казначея, перебирали бумаги.

Иван Иваныч отодвинулся в сторону, так чтобы не могли его заметить, и обратился к Блинову:

– Ну, что? спросил он, понижая голос.

– Посчастливилось! нашел! возразил Блинов, представлявший из себя рослого, плотного белокурого мужчину лет сорока, обстриженного *a la russe*, с румяным лицом гостинодворского молодца; оно оживлялось небольшими глазками, такими же светлыми и быстрыми, как у сокола; он был в форменном вицмундире; на отвороте красовалась цепочка, увешанная знаками отличия, между которыми виднелся персидский орден, полученный за доставку в Тегеран дарового цибика чая.

– Благодарю вас, благодарю, сказал Воскре-

сенский, продолжая говорить шопотом. – Вы с ним основательно переговорили? Соглашается?

– Вполне согласен-с.

– Надо, однако ж, знать, какие его условия?

– Просит выхлопотать герб на вывеску...

Требование ювелира затруднило, по-видимому, Ивана Ивановича; лоб его нахмурился; белые зрачки показались над краем очков и задумчиво поглядели вбок.

– Можно ли на него вполне положиться? спросил он.

– Отвечаю как за себя собственно-с...

Иван Иванович снова задумался, как бы соображая о чем-то; но время не позволяло углубляться в долгие размышления.

– Хорошо, скажите ему; я согласен! проговорил он решительно. – Сегодня вечером привезите его ко мне для окончательных переговоров; смотрите, сегодня же... дело не терпит отлагательства...

В эту минуту временный секретарь, завидя издали Ивана Ивановича, показался в дверях.

– Вы очень кстати, сказал Воскресенский, – сколько членов комитета?

– Всего пять...

– Ничего, я шестой; собрание, по уставу, может состояться... Все ли у вас там готово?

– Все-с.

– Хорошо, ступайте туда; я сию минуту...

Но тут Иван Иваныч был неожиданно остановлен членом Комитета, госпожой Бальзаминовой, которая, как только его увидела, бросилась ему навстречу и, томно склонив голову, с мольбою в глазах и на лице, протянула ему об руки.

Госпожа Бальзаминова, лишившаяся мужа десять лет тому назад, не снимала с тех пор траура, убедившись, что черный цвет необыкновенно шел к ее круглому лицу, придавая ему интересную бледность; не производя, однако ж, никакого впечатления, она по этому, вероятно, казалась всегда чем-то обиженной и готовой расплакаться; плакать, собственно, было не о чем: муж оставил ей прекрасное состояние и, несмотря на свои сорок лет, она пользовалась отличным здоровьем; слезливость могла также происходить от избытка чувствительности ее сердца: она постоянно болела за всех, отзывалась на все стра-

дания, надрывалась от бессилия помочь всему страждущему человечеству. Сердце влекло ее рассыпать благодеяния не только в России, но и в Германии, куда ежегодно отправляла она в какое-то общество милосердия фунт сигарных обрезков, выпрашиваемых ею у всех, с кем только встречалась; щедротами ее пользовались круглый год безразлично все благотворительные учреждения Петербурга: комитет «призрения слепых старух» аккуратно получал от нее все носовые платки, вышедшие из употребления; в больницу «Излечи мои недуги» посылала она то корпию в письменном конверте, то скляночку клюквенного морса; в «детский сиротский приют» отправляла всегда к Рождеству полфунта чаю и на каждого ребенка по два сухаря и по куску сахара; дом «трудолюбия» пользовался от нее старыми гарусными подушками, из которых можно было сделать подобие моха на кружки, куда становятся лампы; базары с благотворительной целью не знали, куда деваться от ее пожертвований. Она постоянно хлопотала о помещении в то или другое заведение какого-нибудь страждущего или неиму-

щего; там пристроила свою кухарку, неожиданно лишившуюся зрения, здесь приютила сына кучера в награду за его усердие еще при жизни покойного мужа.

Она спешила теперь к Ивану Иванычу, имея настоятельную просьбу об определении двух девочек-сироток, оставшихся у нее на руках после смерти любимой прачки.

– Милый Иван Иваныч, милый, вы не откажете... проворковала она, пожимая ему руки.

– Все устрой, все... Только вот что, Любовь Николаевна: я делаю сегодня одно предложение; поддержите его...

– О, еще бы! еще бы! Можете ли вы предложить что-нибудь, на что бы нельзя было согласиться!

– Очень любезно с вашей стороны... Но, Любовь Николаевна, мы поговорим о вашем деле после заседания... Теперь нам пора...

– Пойдемте, пойдемте! Они вместе вошли в залу.

Ивана Иваныча тотчас же окружили. Раскланиваясь и пожимая руки, он, почти не останавливаясь, направился к высокой худощавой даме с восточным орлиным носом и

энергическим взглядом. Это была княгиня Чирикова, также член комитета и, кроме того, председательница общества «Снабжения даровыми кормилицами служащих семейных лиц, получающих не свыше полуторы тысячи годового оклада». Она известна была всему Петербургу тем еще, что каждый, кто ей представлялся, получал, по три раза в течение зимы, конверт со вложением приглашения на ее базар и билета с надписью: *цена пять рублей*. При ее большом состоянии она могла бы действовать гораздо проще, именно: уделять на свое общество две-три тысячи из собственного кармана; но княгиня почему-то избегала этого способа, предпочитая ему тот, которым руководствовалась.

– Получила ваше приглашение и видите: приехала! с достоинством промолвила княгиня, делая глазами знак, приглашавший собеседника отойти несколько в сторону. – Но... но за это вы, надеюсь, не откажете в моей просьбе, добавила она, понижая голос.

– Приказывайте, княгиня...

– Вы поможете мне устроить одно дело..

– Душевно буду рад...

– Душевно или нет, но дайте слово...

– Вы, в свою очередь, не откажете поддержать в заседании мое предложение?

– Заранее согласна; только слово, дайте слово.

– Извольте, даю слово! Не угодно ли будет занять место, княгиня? Мы сейчас начнем... Милостивые государыни, господа, не угодно ли будет занять места? возвысив голос, проговорил Иван Иваныч, любезно указывая присутствующим на ряды стульев.

Княгиня, г-жа Бальзамина, знакомый уже нам Стрекозин, его товарищ, красивый камер-юнкер, которому отец отказал в деньгах на поездку за границу, и еще некто барон Шлиссельбург, неприменный член всех возможных обществ, никогда ничего не говоривший, но приезжавший всегда первым и уезжавший последним, заняли ближайшие места, как члены комитета. Дальше разместились остальные члены; между ними рельефно выдвигалась толстая г-жа Шилохвостова, которая уже теперь тяжело дышала от жары и также от беспокойства, чтобы пот, струившийся по ее лицу, не причинил повреждений

ее румянам и пудре.

– Милостивые государыни, милостивые государи, заседание открыто! проговорил Иван Иваныч, придавая лицу скромное выражение человека, который тяготится видною ролью, но, в то же время, незаметно спрятал под стол левую руку и выразительно прижал указательным пальцем колено временного секретаря, сидевшего подле на углу стола рядом с казначеем.

Секретарь встал и приступил к чтению отчета о деятельности общества за последнее полугодие. Не отступая от данной ему инструкции, секретарь умышленно растягивал каждую фразу и останавливался, покашливал, на каждом периоде. Инструкция, внушенная заблаговременно секретарю и казначею, имела целью продлить заседание до последней возможности. Вопрос о жетонах должен был явиться к концу, когда уже не останется сомнения, что члены изнемогают от жары и усталости, осовеют от тоски и готовы на что угодно, лишь бы только их отпустили.

Чтение отчета успело уже отчасти произвести свое действие; действие это приметно

усилилось при чтении казначейского отчета. Последний сделал известным, между прочим, что, хотя в кассе общества, несмотря на излитые благодеяния в течение шести месяцев, состоит налицо двадцать одна тысяча[8], но вообще дела общества нельзя назвать вполне блестящими и желательным было бы изыскать средства для их улучшения.

На этом можно бы остановиться и приступить к делу: большая часть членов сидела, как опущенная и воду; у всех почти лица багровели и лоснились; на одних изображалось томление, на других проступали явные знаки нетерпения; но Иван Иваныч этим, по-видимому, еще не удовольствовался,

– Милостивые государыни, милостивые государи! провозгласил он, привставая и упираясь ладонями на край стола, – позвольте мне сделать одно предложение: так как теперь самое жаркое время, все, кроме того, живут за городом и собираться очень трудно...

– Да... да!.. правда!.. Весьма трудно!.. раздалось в разных концах.

– Поэтому самому не угодно ли будет воспользоваться минутным перерывом, чтобы

теперь же сообщить ваши замечания?.. Обсудив их, мы могли бы ограничиться сегодняшним заседанием и не собираться больше до приезда многоуважаемой председательницы, то есть до осени... И так, не угодно ли будет?.. Вы, кажется, имеете что-то сказать? обратился он, почтительно наклоняясь к княгине, которая выказывала знаки нетерпения.

– Да, Иван Иванович; но можно мне воспользоваться случаем, чтобы спросить об одном деле, касающемся моего общества?

– Хотя это будет не совсем правильно, так как мы здесь по делам другого общества, но я надеюсь, присутствующие гг. члены не будут против этого... тем более, что у нас теперь перерыв... К услугам вашим, княгиня...

– Я хотела просить вас прислать на праздник, который я даю в Летнем саду, детей из вашего сиротского приюта; они мне нужны для томболы и для продажи...

– С величайшим удовольствием, княгиня; надо только знать, в какой именно день назначен ваш праздник?

– Он будет двадцать восьмого июля.

В эту минуту с той стороны, где сидела г-

жа Шилохвостова, послышался шорох платья и, вслед затем, из-за ближайших голов, выдвинулось ее лицо, такое же почти красное, как цветы мака на ее пастушеской шляпке.

– Я не понимаю, что это значит, произнесла она кисло-сладким голосом, – тут какое-то недоразумение... Не ошибаетесь ли вы, княгиня?

– В чем? сухо спросила княгиня, едва поверачивая голову.

Присутствующие, из которых многие начинали уже чувствовать тяжесть в глазах, приподняли головы; послышался шепот, одни отыскивали глазами княгиню, глаза других с любопытством останавливались на г-же Шилохвостовой.

– В том, что ваш праздник назначен двадцать восьмого числа! бойко и решительно ответила г-жа Шилохвостова.

– Нет, не ошибаюсь! еще решительнее возразила княгиня, достаивая наконец взглянуть на собеседницу, но так, однако ж, как бы сама сидела на верхушке башни, а собеседница копошилась где-то там внизу.

До сих пор г-жа Шилохвостова старалась

сдерживать свои чувства; взгляд княгини произвел действие искры, попавшей в пороховой погреб.

– Позвольте! воскликнула она визгливым, дребезжащим голосом, – этот день мой и также в Летнем саду.

– Не знаю, ваш ли это день, только он мой, и я никому не уступлю его! промолвила княгиня, у которой при этом заострилась профиль и судорожно задвигались брови.

– у меня есть разрешение! крикнула г-жа Шилохвостова.

– У меня также!

– Протекцией, вероятно...

– А вы, вероятно, интригой! встрепенулась княгиня, как птица, заслышавшая выстрел.

Г-жа Шилохвостова быстро поднялась с места; она хотела что-то возразить, но, вместо слов, начала от волнения икать и захлебываться; грудь ее колыхалась; губы побелели и странно как-то вздрагивали; шляпка ее также вздрагивала, а цветы на ней ходили из стороны в сторону, точно их тормошила буря.

Княгиня также встала, но она лучше владела собою; никто никогда не видал ее более

величественной; она точно выросла, точно с облаков смотрела на все окружающее.

Иван Иваныч, сидевший с видом глубоко опечаленного человека, также поднялся с места. Он обратился к княгине, но, не зная, что ей сказать, развел только руками к подошел к г-же Шилохвостовой.

– Анна Матвеевна, успокойтесь... Бога ради! заговорил он, уныло наклоняя к ней голову, – умоляю вас, успокойтесь! Возьмите Таврический сад; я вам все устрою, только успокойтесь, подхватил он, стараясь удержать ее, – соберу вам все приюты для аллегри... выхлопочу даровые хоры военной музыки...

– Благодарю вас... не желаю вашего Таврического сада! повторяла г-жа Шилохвостова, бросая вокруг вызывающие взгляды и продолжая направляться к двери, – Здесь, я вижу, одна несправедливость и гадости...

– Анна Матвеевна, Бога ради! Не грешно ли вам?.. Таврический сад еще лучше Летнего... Все вам устрою! убеждал Иван Иваныч, преследуя ее шаг за шагом.

– Да, гадости... гадости!., послышался голос г-жи Шилохвостовой уже за дверью.

Неожиданное столкновение между двумя благотворительницами занятно оживило соборате; большинство членов поднялось со своих мест и взялось за шляпы.

– Господа, прошу у вас всего несколько минут... Предстоит еще один вопрос, заговорил Иван Иванович, возвращаясь к княгине, подле которой, с одной стороны, ворковала г-жа Бальзамина, с другой – егозили в перебивку красивый камер-юнкер и Стрекозин. – Прошу вас подождать еще минуту, минуту только! подхватил он, возвышая голос и занимая свое председательское место. – Милостивые государыни, милостивые государи, прошу садиться... Заседание продолжается! заключил он, звоня в колокольчик и, в то же время, обязательно придвигая левой рукой стул княгине.

Все снова уселись, но уже нехотя, кто со шляпой в руке, кто боком, как бы выжидая случая улизнуть при первой возможности.

В коротких, но выразительных словах Иван Иванович изложил мысль о жетонах и пользе, которую такая операция могла бы принести обществу. Все дело заключалось в том, чтобы присутствующие здесь гг. члены

согласились для первого опыта выпустить хотя бы тысячу таких знаков и израсходовать на этот предмет известную сумму.

– Прекрасно! Браво! Согласны, согласны! послышалось со всех концов стола и все, в то же время, стали подниматься с мест.

– Еще одну секунду... прошу вас, одну только! оживленно произнес Иван Иваныч, принимая от секретаря бумагу и выкладывая ее на стол подле чернильницы. – Предложение, с которым вам угодно было согласиться, включено в журнал сегодняшнего заседания... Остается вам только подписать его... Не угодно ли, господа?.. Княгиня, не угодно ли начать? добавил он, подавая ей перо и выворачивая при этом с особенною какою-то грацией кисть правой руки.

Княгиня подписалась, за нею бросились подписываться другие. Когда Иван Иваныч, проводив княгиню до самой лестницы, возвратился в залу, журнал был уже подписан, и члены, торопливо пожимал ему руку, спешили к выходу.

Им было очень хорошо: этим заседанием начинался и оканчивался их трудовой день.

Но каково было Ивану Иванычу? И без того уже утомленный умственно и физически, он не мог уже рассчитывать на спокойствие у себя: вечером, когда весь чиновный люд, живущий на даче, наслаждается природой, сидя у открытого окна и играя в карты, ему предстояло еще иметь совещание с ювелиром, которого должен был привезти расторопный Блинов.

XII

После отъезда из церкви Воскресенского, Лисичкина и Бабкова, Алексей Максимыч Зиновьев, против ожидания, остался доволен их посещением. Он мало думал о двух художниках; их похвалы могли быть искренни, — он был благодарен; оба, правда, слишком восторгались, слишком горячо и часто пожимали ему руки и чересчур увивались подле Воскресенского, — и это не совсем ему понравилось. Все мысли его сосредоточивались на Иване Иваныче. Он не сомневался, что тронул в нем, наконец, чувство справедливости; его старания оправдаться, кроткий вид, с каким выслушивал он обвинения, служат тому верным доказательством. И чем же он, в самом деле, мог лично досадить Ивану Иванычу? В чем собственно, говоря по совести, провинился он, как строитель церкви? Поводом преследований, очевидно, были какие-нибудь недоразумения; всего вероятнее, встретились недоброжелатели и завистники, которые наговаривали и сплетничали. Чем больше думал об этом Зиновьев, тем больше утешал се-

бя мыслью, что объяснение с Воскресенским усовестило последнего, восстановило снова их прежняя отношения, положило конец придирам и преследованиям.

На обратном пути домой, Алексей Максимыч стал даже упрекать себя в том, не далеко ли зашел, выражал так резко свои неудовольствия Ивану Иванычу, и мысленно побранил себя за излишнюю горячность и раздражительность. Под влиянием такого чувства он собирался даже написать Воскресенскому, но тут же отложил намерение, подумав, что неприятные впечатления всего лучше изглаживаются при объяснениях с-глазу-па-глаз; лучшим доказательством служить их разговор в церкви.

Два дня спустя, Алексей Максимыч поехал к нему, но не застал его дома и вдвойне пожалел об этом; он думал, кстати, обрадовать его приятным известием: в течение этих двух дней ему удалось случайно напасть на подрядчика, который, после осмотра остающихся работ в церкви, брался их окончить за весьма умеренную плату, с тем даже, чтобы получить расчет после того, как все будет готово.

Он поспешил сообщить об этом письменно Ивану Иванычу. На другой день курьер привез ответ, удививший Зиновьева странностью своего содержания. В нем слова не упоминалось о радостной находке подрядчика, он в коротких словах передавал только чувства человека, которого, вообще говоря, мало озабочивает мирская суетность; коснувшись вскользь объяснения в церкви, Иван Иваныч убедительно просил Зиновьева, как доброго христианина, изгладить из своей памяти все, что могло показаться ему тогда обидным.

– Вот славно! А я уже и забыл об этом, воскликнул Алексей Максимыч, – не помнишь ли ты, Сережа? подхватил он, шутливо обращаясь к племяннику.

– Не знаю, дедушка, меня там не было, Я думаю, было что-нибудь очень приятное, потому что с того дня ты стал как-то особенно весел.

До того дня старик действительно больше старался казаться веселым; Сережа и Маруся очень хорошо знали причину затаенной грусти, проступавшей в чертах дедушки, вопреки его усилиям показывать им довольное рас-

положение духа; они не понимали только повода, заставившего внезапно остановить работы в церкви в то самое время, когда она совсем уже приближалась к концу. Беседуя между собою, оба делали всевозможные предположения и, не стесняясь, бранили на чем свет стоять членов совета, распорядителей, графа, – словом, всех тех, от кого зависела постройка. Теперь надо думать, что дело опять пошло на лад: дедушка уже не довольствовался казаться веселым, – он был весел в самом деле.

К концу недели открылся новый повод радости. Алексею Максимычу посчастливилось отыскать живописца, который соглашался докончить орнамент на нижней арке почти на тех же условиях, как подрядчик брался кончить каменные работы. Живописец был только человек крайне бедный и просил вперед несколько денег; но это была такая безделица, о которой говорить не стоило. Иван Иванович и за ним члены совета, конечно, не остановятся перед выдачей ничтожной суммы, когда им будут представлены новые, исключительно выгодные условия подрядчика и

живописца. Все, без сомнения, поспешат ими воспользоваться. Слава Богу, никто здесь не враг общественному интересу; напротив, он служить целью совета и одинаково воодушевляет всех его членов.

Зиновьев не мог только добиться, когда соберется совет и в какой именно день можно будет представить ему доклад. Он писал об этом Воскресенскому, но тот отвечал, что сам этого не знает, прибавляя, что в летнее время совет собирается вообще реже и в тех только случаях, когда много дел.

Алексей Максимыч, – терпеливый по природе и сделавшийся в последние три года еще терпеливее, благодаря Ивану Иванычу и совету, – решился ждать, но, чтобы не терять дорогого времени, продолжал хлопотать и работать: ездил по биржам прикидываться к цене материалов, придумывал различные удешевления, приспособления, составлял чертежи, исправлял и переписывал свою докладную записку, – словом, подготавливал дело таким образом, чтобы после доклада немедленно приступить к окончанию постройки.

Простодушная доверчивость Зиновьева

может казаться преувеличенною для тех, кому не случалось встречаться с истинными художественными натурами. В них всегда преобладает что-то детское, и свойство это сохраняется независимо от лет и жизненного опыта. Впечатлительны, как ртуть, они так же скоро остывают и съеживаются, так же быстро согреваются и, не находя простора, стремятся к верхним градусам; лица этого рода живут по преимуществу нервами, и все их действия руководятся воображением. Самое ничтожное обстоятельство: мелкая неприятность, встреча, вид неприязненного лица, слово, сказанное на ветер, способны не только обдать их холодом, но сделать их раздражительными, расположить к мрачному настроению их чувства, и наоборот: встреча, мысль, слово, едва приметный луч надежды, но при сочувственных условиях, производят одушевляющее, как бы электрическое действие: они мгновенно оживают, глаза радостно блестят, речь льется сама собою; на это нет возраста: молодые и старики, — разумея здесь, конечно, только настоящих артистов, к числу которых принадлежал и Алексей Макси-

мыч, – все дети одной семьи, у всех та же восприимчивая закваска на дрожжах, все состряпаны из одного теста.

В тот день, когда отыскался живописец, радость Зиновьева выказывалась не только на лице, но и во всех его движениях. Возвращаясь на дачу к обеду, он издали еще принялся махать шляпой над головою, как только показались белые платья двух бежавших навстречу девочек; они также махали ему платками и весело вскрикивали; за ними мелькал синий зонтик Маруси и знакомая шляпа Сережи.

Дедушку встречали таким образом каждый день, и встреча сопровождалась всегда такими изъявлениями радости, что посторонний мог подумать, будто старик возвращается после долгой отлучки.

– Обедать! обедать! – повторял Алексей Максимыч, посылая поцелуи направо и налево. – Я, деточки, сегодня жестоко проголодался; утром, в суете, я не взял с собою сыра и хлеба и теперь голоден, как собака...

– Как? Неужели? – воскликнула Маруся. – Боже мой, я никогда себе не прощу этого...

– Ты нисколько не виновата, – поспешил успокоить Алексей Максимыч, – я сегодня тихонечко утек из дому; было рано, вы все еще тогда спали...

Услышав на дворе голос Алексея Максимыча, Марьянушка засуетилась; Маруся побежала в кухню. Вскоре вся семья села за стол, накрытый в беседке.

Давно не было такого веселого обеда. Больше всех способствовал этому дедушка. Под конец он явился с новой выдумкой; она случайно пришла ему на ум во время дороги. Дело заключалось в следующем: после обеда все, огулом, должны были отправиться на Малую Невку, к ближайшей пристани; здесь все сядились в лодку; Сереже поручался руль. Лодка выезжала на взморье и останавливалась у тоней против Крестовского острова.

Дедушка вступал в переговоры с рыбаками, после чего начиналось бросание невода, по одному разу на счастье каждого члена семейства. Дедушка не делал никаких предположений насчет Маруси и Сережи. «Счастливые в любви...» – начал он, посмеиваясь, но тут же, оборотясь к Кате и Соне, выразил уве-

ренность, что на долю каждой выпадает невод, полный лососок, из которых в самой маленькой будет, по крайней мере, аршин длины и двадцать фунтов весу.

Алексей Максимыч прекрасно сделал, что поберег сообщение своей выдумки к концу обеда, иначе Катя и Соня никому бы не дали покоя и сами, в нетерпении своем, наверное, остались бы голодными.

Только что кончился обед, старик послал всех одеваться, сам остался в беседке и закурил сигарку.

Услышав на двор чужой голос, он послал туда Марьянушку: минутой спустя, она возвратилась, сказав, что голос принадлежал курьеру, и подала ему большой конверт, припечатанный крупной красной печатью.

В доме, между тем, все суетливо готовилось к прогулке; Маруся была уже в шляпке. Застегивая пуговицы на ботинках Сони, она, в то же время, перекидывалась словами с Сережей, который смотрел в комнату из растворенного окна, положив локти на подоконник. Очередь была теперь за Катей, но Катя опять куда-то исчезла.

– Катя! Катя, где ты? крикнула Маруся,
Но в ту же секунду голос Кати послышался со двора, почти за спиною Сережи. Странный звук этого голоса заставил его обернуться; при вид девочки он тотчас же понял, что в доме что-нибудь случилось: на девочке лица не было; брови ее усиленно подымались, черты изображали испуг.

– Сережа... там в беседке... дедушка... едва могла произнести она от волнения, – с дедушкой что-то сделалось... с дедушкой!..

При последних словах Сережа бросился к беседке он прибежал туда почти в одно время с Марусей и двумя девочками.

С ужасом увидели они старика, распростертого на диване; лицо его было бледно, как известка; ресницы закрытых глаз судорожно вздрагивали, такое же движение проходило, как будто, под кожей лица; Марусе показалось, однако ж, что движение это останавливалось на левой щеке и у левого глаза; старик, очевидно, не был в обмороке; он тяжело дышал, не переставая водить правой ладонью по левой руке, которая лежала в каком-то оцепенении. Сознание, по всему было

видно, не оставляло его. Услыша подле себя знакомые голоса, он открыл глаза и сделал движение, как бы желая приподняться; но левая нога изменила ему, и он снова бессильно опустился, но теперь опустился на руки Сережи, который успел подхватить его.

Маруся стояла уже перед ним на коленях, утирая платком его мучительно стянутый лоб. Он хотел ей улыбнуться, но, вместо улыбки, на губах его проскользнуло что-то столь горькое и безотрадное, что Маруся не могла уже удержаться и заплакала.

– Милые мои... деточки, проговорил, наконец, Алексей Максимыч, оглядывая каждого своими добрыми глазами.

Несвязность, с какою произносил он слова, и самый звук его голоса окончательно подрезали сердце Маруси; удерживаясь от рыданий, подступавших ей к горлу, она прижала его руку к груди и горячо начала целовать ее.

– Дедушка! скажи, что с тобой?.. Что случилось? заговорила она, наклоняясь испуганно к его лицу.

– Мне легче... Дурно было сделалось... Теперь гораздо легче... произнес он, стараясь

говорить яснее. – Пройдет, я чувствую. Так вдруг случилось... неожиданно... Не бойтесь... Главное, мне надо успокоиться... успокоиться надо... это главное...

Встревоженное лицо Марьянушки, которую поспешила уведомить Катя, показалось в беседке. Общими силами старика подняли на ноги, перевели в дом и уложили в постель.

Сережа, с лицом, покрасневшим до корня волос, суетился, спеша в город за доктором.

У выходной двери он встретился с Марусей.

– Дедушке отказали; он не будет больше строить церковь, торопливо проговорил он шепотом.

– Неужели?

– Да; на столе, в беседке, лежала бумага, и я успел просмотреть ее... Дело решенное: ему отказали!

– Бедный, бедный дедушка! сказала Маруся, закрывая лицо руками.

– Большое несчастье для него... да и для всех нас также, может быть!..

С последним словом он надел шляпу и побежал к калитке.

К вечеру только удалось ему отыскать и привести доктора.

Пока доктор был у больного, Сережа и Маруся сошлись в соседней комнате. Она старалась его успокоить, уверяя, что во время его отсутствия дедушка заметно оправился. На левой щеке было уже меньше онемения; он не владел еще вполне; левою рукою, но она потеряла свой зловеций синеватый цвет и была несравненно теплее; но главное, по ее мнению, заключалось не в этом; ее пугало совсем другое, – пугало нравственное состояние больного. Как ни старался он скрыть перед ней свое горе, оно высказалось вопреки его усилий. Он несколько раз уговаривал ее пойти в свою комнату: голос его и лицо казались совсем спокойными; она делала вид, что удалялась, но не успевала сделать нескольких шагов, как он поворачивался лицом к стене и уже слышались его рыдания.

– Я не тревожила его в такие минуты, прибавила Маруся. – Мне говорили: плакать лучше, когда большое горе; оно тогда облегчается... Но веришь ли, Сережа, всякий раз, как он так заплачет, у меня точно сердце обрыва-

лось... Мне казалось, точно ребенок плачет... Бедный, бедный дедушка!

С каждым словом лицо Сережи делалось мрачнее. Плотно сжатые губы, нахмуренные лоб и брови, судорожное движение ноздрей показывали, что в нем происходила сильная внутренняя работа.

Сообщения доктора возвратили обоим надежду. Не предвиделось пока никакой опасности. До настоящего дня старик слишком много волновался и мало-помалу подготовил себя к тому, что случилось; но и этого бы не было, вероятно, если б нравственное потрясение не произошло тотчас же после обеда; паралич, к счастью, едва коснулся верхних оболочек; организм совершенно в нормальном порядке. Два-три дня спокойствия, – следов не останется.

Как ни успокоительны были слова жреца науки, Сережа не решился расстаться с больным и оставался ночевать в его комнате. Он прилег на диване, не раздеваясь, нарочно с тем, чтобы быть готовым на всякий случай.

Предусмотрительность его была лишней, но он не сомкнул глаз во всю ночь. Поступок с

дедушкой, который был для него воплощением всего доброго и честного на свете, возмущал его до глубины души; кровь подымалась ему в голову и в ушах звенело. Тут не только была несправедливость, но чувствовалось что-то злобное и жестокое. Что мог им сделать этот простодушный старик? Как архитектор, он также не мог навлечь нареканий: знание, опыт, талант, – все было на его стороне. Кто, – не считая его преклонных лет, – кто больше него трудился, положил столько любви в дело, отдал ему всего себя с таким увлечением?! И отнять у него дело, – когда же? – когда все уже почти готово! Желание воспользоваться чужим трудом было: здесь слишком очевидно! И нельзя помешать этому! «Нельзя ухватить их всех за горло и раздавить, как клопов!» – мысленно восклицал он, и хотя тут же сознавал всю нелепость таких желаний, но, тем не менее, сокрушался своим бессилием и ничтожеством.

Незнакомая до того горечь подымалась с самого дна его души. Бессонная эта ночь прошла для него не без пользы. Сердце его ожесточилось против неправды; ум яснее стал

видеть между тем, что должно быть и что происходит в действительности. Ночь эта осуществила для него целую школу жизни.

Он заснул тогда уже, как начиналось утро.

XIII

Проснувшись довольно поздно, Сережа крайне был изумлен, увидев дедушку в белом галстуке и черных панталонах.

– Дедушка, что с тобой?.. Куда ты? проговорил он, вскакивая с дивана.

– Необходимо сейчас же ехать... Мне теперь совсем хорошо, отвечал старик, надевая жилет и суетливо принимаясь за фрак.

Сережа побежал к Марусе, и оба начали его уговаривать; но все, что они говорили, было напрасно; Алексей Максимыч стоял на своем, упрямылся, выказывал даже явные знаки неудовольствия, чего с ним прежде никогда не было. Сережа с трудом мог достичь того только, что поедет с ним, будет всюду его сопровождать и ждать везде, где будет ему угодно. Пока старик прощался с детьми и Марусей, уверял всех, что чувствует себя теперь как нельзя лучше, Сережа побежал умыться и причесаться, шепнув мимоходом Марьянушке, чтобы она скорее послала кухарку за извозчиком.

Алексей Максимыч велел взять себя

прежде всего к графу.

Когда дрожки остановились перед подъездом знакомого дома, швейцар объявил, что граф только что изволил выехать. Граф и графиня отправились провожать молодого графа, который уезжал за границу; оба возвратятся только к вечеру, потому что кушать поедут в Петергоф, и карету приказано прислать к последнему поезду.

Зиновьев не показал только виду, но известие это приметно его взволновало. Не торгуясь с извозчиком, против своего обыкновения, он уселся на дрожки рядом с племянником и велел немедленно ехать на Парголовскую дорогу. Сережа догадался, что они отправляются теперь на дачу к Воскресенскому.

Расстройство дедушки было слишком очевидно, чтобы не пугаться дальности дороги, в такую жару особенно, но племянник воздержался, однако ж, от всякого замечания. Развлекать дедушку посторонними разговорами ему также не хотелось; он сначала было попробовал; старик делал только вид, что слушает; выражение его лица и взгляд ясно показывали, что мысли блуждали где-то далеко

от предмета беседы... Коснуться причин настоящей поездки значило только растрогать окончательно старика; Сережа предпочел молчать, ограничиваясь тем, что подкладывал руку за спину соседа всякий раз, как на дороге встречался ухаб или камень.

Дача, занимаемая Воскресенским, имела свою историю. Она состояла из большого каменного дома и обширного старинного сада. То и другое подарено было когда-то одной знатной старушкой сиротскому приюту, который процветал здесь более тридцати лет. Внезапно кем-то найдено было, что место здесь изменно и сырой воздух отражается крайне вредным образом на здоровье сирот; за сим явились более положительные данные, сопровождаемые вескими цифровыми выводами о злокачественных свойствах места. Выводы эти, весьма красиво означенные на бумаге и скрепленные подписями, представлены были на рассмотрение комиссии, которая была временная, как большая часть комиссий. Возник вопрос о необходимости отвести другое место и выстроить на нем новое здание; тут же приложена была и смета. Цифры выходи-

ли крупные, но человеколюбивая мысль взяла верх над экономическими соображениями. Здание было воздвигнуто, сироты водворены, а бывшее их жилище перешло временно в то ведомство, где служил Иван Иваныч, и временно также, т.-е. во время лета, им стали пользоваться семейные чиновники. Один из них, более предприимчивый, устроил даже в бывшей столовой гимнастику для детей и каток для коньков с рулетками, имея в виду доставить развлечение взрослым своим товарищам, их женам и знакомым, наезжавшим сюда по праздникам. Иногда бывало здесь очень весело.

Алексею Максимычу больше здесь почастливилось, чем у графа. Узнав, что Иван Иваныч дома, он проявил вдруг столько живости, что краска мгновенно выступила на лице его; даже на ушах и шее показался какой-то лиловый отблеск.

– Дедушка, успокойся Бога ради!., Сам доктор, помнишь, сказал, что вредно тебе волноваться, успел только проговорить племянник, слезая с дрозжек вместе со стариком.

Алексей Максимыч осторожно отстранил

его рукою. Сережа остановился, но с беспокойством стал следить за дедушкой, который, заметно припадая на левую ногу, торопливо зашагал к подъезду.

Черты старика снова покрылись бледностью, когда он вошел в кабинет Воскресенского.

При виде Зиновьева Иван Иваныч поспешно встал с места и пошел к нему навстречу с распростертыми руками; всмотревшись в лицо вошедшего, он, однако ж, остановился. В первую минуту Зиновьев от волнения не мог проговорить слова. Воскресенский этим воспользовался; он оглянулся назад к столу, убедился, что колокольчик на своем месте, и поспешил принять печально-расстроенный вид.

– Понимаю ваше горе, многоуважаемый Алексей Максимыч, понимаю его вполне и... и разделяю его, произнес он удрученным голосом. – Обвинения ваши, если таковые суждено мне выслушать, будут несправедливы... Я не заслужил их... Против вас я никогда ничего не имел и не имею, кроме истинного уважения... Я тут ни при чем.

– Кто же, наконец, это... это сделал? Кто от-

нял у меня... начал было Зиновьев, но не мог докончить; он едва переводил дыхание; нижняя челюсть его и губы дрожали, как в лихорадке.

– Успокойтесь... Прежде всего, прошу вас успокоиться...

Иван Иванович указал на соседний стул и даже придвинул его. Но Зиновьев как будто не заметил этого.

– Я пришел спросить, какие причины заставили поступить со мною таким образом? подхватил он, оправляясь. – В чем меня обвиняют?.. Так вдруг нельзя же без всякого повода!..

– Совершенно основательно; но, повторяю вам, дорогой Алексей Максимыч, я тут ни при чем... Я имел уже честь вам докладывать, – даже писал вам на днях об этом, – что если я в этом деле принимаю участие, меня занимает в нем не столько материальная его сторона, сколько собственно нравственная; меня привлекала человеколюбивая мысль, сопряженная с постройкой этого здания... Причины, о которых вы изволите упоминать, мне неизвестны; решение вышло из совета; к сожалению

нию, в эти последние дни мне нездоровилось и я в нем не участвовал... Когда я стал спрашивать, мне намекали на какие-то, будто бы, злоупотребления...

– Злоупотребления! – воскликнул Алексей Максимыч, которого при этом обдало холодом от затылка до самых пяток.

– Но никто этому, конечно, не верит, – поспешил успокоить Воскресенский.

– Все равно, все равно, я желаю знать, в чем заключаются эти злоупотребления...

Иван Иванович и сам не рад был, что коснулся этого вопроса; но делать было нечего, – слово вырвалось, не вернешь назад; искоса взглянув на стол, туть ли колокольчик, он как бы приободрился и прибавил:

– В прошлом году... у вас, говорят... вышел там какой-то недочет... каких-то денег недостало в кассе...

Неожиданность такого сообщения сразила, казалось, старика.

– Правда, – произнес он, смело глядя в глаза собеседнику, – правда, но это мое личное дело, оно никого не касается; деньги были сполна тотчас же внесены... Какое же кому до

этого теперь дело?

– Никто же на это и не претендует. Помилуйте! Всем слишком хорошо известна ваша честность... Я полагаю, тут одни только сплетни... и причина вовсе не в этом... Она, всего вероятнее, заключается в промедлении постройки...

– В промедлении! – на этот раз уже просто вскричал Алексей Максимыч, – в промедлении! Но кто же, как не вы, милостивый государь, задерживал работу? В эти последние три месяца я гроша от вас не мог добиться... Просил, умолял, наконец, поневоле должен был остановить постройку...

– Боже мой! Боже мой! – заговорил Иван Иваныч, отступая еще шаг и печально качая головою, – подумайте только, в чем вы меня упрекаете... меня, который только и думал, как бы угодить вам!.. Вникните спокойнее: разве деньги мои и я могу выдавать их когда заблагорассудится? Точно не знаете вы, что церковь строится на пожертвованные суммы, точно не знаете, что можно располагать ими тогда только, когда они есть в вассе...

– Если это так, то тем несправедливее

упрек, который мне делают! Вы, стало быть, не объясняли совету...

– Я уже имел честь докладывать вам, что меня тогда, – прибавлю; к сожалению, – не было в совете...

– Но определения совета рассматриваются графом... Вы... ваша обязанность была предупредить его насчет причины задержки... Он мог, наконец, послать за мною, расспросить меня... Решением управлял, следовательно, один произвол, а может быть, что-нибудь еще хуже: была подведена какая-нибудь гнусная интрига...

Иван Иваныч всплеснул руками и склонил голову набок с видом изнеможения.

– Не понимаю только, что граф тут делал? – продолжал Зиновьев с возраставшим жаром. – Я считал его всегда человеком честным и благородным... Он всегда был прежде так расположен ко мне... Его, верно, подвели, обманул кто-нибудь... или он потерял, наконец, всякий смысл, всякое сознание!..

– Граф так мало потерял сознания, – робко вступился Иван Иваныч, – что первую его мыслью, когда все... все это вышло... было

представить вас к награде...

– Что мне награда! Моя награда – мой труд! Я о другом никогда не думал и ничего не искал... Я желаю только, чтобы со мной поступали так же честно, как я всегда поступал с другими; к сожалению, я ошибся, полагаясь на людскую честность; старость ничему меня не выучила; вижу, что здесь, прежде всего, надо быть кулаком и пройдохой... Я всю жизнь слышал об этом, по отказывался всегда верить; теперь, на старости, пришлось убедиться: хорошо здесь только кулакам и пройдохам!..

– Я не был ни тем, ни другим, позволю вам заметить, – проговорил обиженным тоном Воскресенский, – но не раскаиваюсь в этом, нет, не раскаиваюсь; мною управляли всегда одни чувства: долг, желание добра ближнему... религия...

– Я, может быть, не так религиозен, как вы, но не сделаю, милостивый государь, того, что вы сделали, – да, вы! вы!.. потому что все дело было в руках ваших, и вы бы никогда не допустили того, что произошло, если б только захотели! Я с тем приехал, чтобы сказать вам

это прямо в глаза! Да! Я и другим буду то же рассказывать...

– Вы не можете оскорбить меня, господин Зиновьев, – проговорил тихо, но не без достоинства Иван Иваныч; – мои действия и цели, слава Богу, известны... Если кто и поверит, предоставляю каждому на его совесть... Придет время, наконец, когда разъяснится, кто тут прав, кто виноват... История беспристрастна; она нас рассудит...

– «Вон куда хватил! История! Будет ей до тебя дело, как же!» – мелькнуло в голове Зиновьева, несмотря на все его расстройство. – Не знаю, что история скажет, – продолжал он громко, – но я скажу вам, что я не настолько еще ослаб от старости и выжил из ума, чтобы так оставить это дело; я пойду к графу, обращусь к совету, обращусь к каждому, кто принимал участие в этом несправедливом поступке... Пока... пока оставлю его на вашей совести... Затем, милостивый государь мой, прощайте!..

Иван Иваныч молча поклонился; устремляя выше очков белые зрачки свои на удалявшегося Зиновьева, он слегка улыбнулся, как

улыбаются взрослые беснованию спеленатого ребенка.

До настоящей минуты Алексея Максимыча поддерживали нервный подъем и сильное нравственное возбуждение. Когда он вернулся к племяннику, тот поспешил поддержать его: до такой степени старик показался ему вдруг опустившимся и ослабевшим. Черты его осунулись, глаза вращались беспокойно и смотрели смутно. Племянник с трудом усадил его в дрожки и велел извозчику ехать скорее домой на дачу. Дорогой он должен был раз остановиться, чтобы достать воды, потому что дедушка внезапно почувствовал дурноту.

Приехав домой, Сережа распорядился, чтобы старика скорее уложили в постель, а сам поспешил за доктором.

Докторская предсказания сбылись только на другой день к вечеру. У Алексея Максимыча открылась нервная горячка: к ней[9] присоединилось разлитие желчи. Старшие члены семьи – в том числе и Марьянушка, – превратились в тот же день в сиделок; каждый по несколько часов дежурил по очереди у постели больного. В общем разделе, на долю Ка-

ти и Сони досталась едва ли не самая трудная обязанность: они должны были молчать и тихо, только на цыпочках, переходить из комнаты в другую. Главным образом, обоим было предписано не касаться в разговорах при дедушке постройки церкви, не напоминать даже об этом, хотя бы словом одним.

Сережа, строго наблюдавший за этим, сам, между тем, едва удерживался. Узнав случайно в академии, что достраивать церковь поручили какому-то Бабкову вместе с другим, – имени последнего он не помнил, – он так горячился и часто выходил из себя, что каждую минуту можно было ожидать от него какой-нибудь неосторожности. Дело спасалось только Марусей, которая, как только Сережа начинал возвышать голос, спешила прижать ему ладонь к губам, Он тогда выбегал в сад; Маруся приближалась к окну и глазам ее представлялся Сережа, ходящий быстрыми шагами и махавший в воздухе кулаками. Такой моцион всегда, впрочем, хорошо на него действовал: он после этого заметно успокаивался и возвращался смиреннее прежнего к постели больного.

В конце августа болезнь Алексея Максими-ча настолько уже уступила, что его можно было перевезти на городскую квартиру; в одном лишь не мог он оправиться: к нему не возвращалась его прежняя веселость.

Чего только не делали, чтобы развлечь его! В день его рождения[10] Катя и Соня сочинили живые картины, в которых явились в бумажных костюмах, ими же сочиненных и раскрашенных; в одной из этих картин приняла даже участие Маруся: стоя на табурете, прикрытом бумажным облаком, она изображала благодетельную волшебницу, кротко улыбающуюся Кате и Соне, одетым пастухом и пастушкой, между тем как Сережа, сидя за ширмами, брал в это время торжественные аккорды на фортепиано. В тот же вечер Маруся поднесла дедушке абажур с изображением Большого канала в Венеции во время карнавала; лупа, ряды освещенных окон, отражения в воде огоньков на гондолах, – все это, искусно выскобленное на бумаге и подкрашенное красной и желтой краской, придавало живость акварели, которая сама по себе была очень мило написана Марусей; но и подарок

этот не достиг своей цели; дедушка, правда, долго не отрывал от него глаз, но, следя за выражением его лица, можно было думать, что подарок производил на него скорее даже грустное впечатление.

Иногда Сережа выкладывал на большой стол к окну папку с рисунками Алексея Максимыча. Старик начинал их просматривать, вспоминал о чем-то, но на лице появлялась вскоре равнодушная усталость; он снова укладывал рисунки и закрывал папку, как бы говоря самому себе: «к чему все это?»

Заметная перемена его духа к лучшему произошла после того только, как Сережа, решившись, наконец, показать ему свою программу, привез ее на дон. Алексей Максимыч в первый раз оживился и напомнил в тот день прежнего дедушку.

И всем в этот день как будто стало веселее.

XIV

Постройка церкви, между тем, приближалась к концу.

– Слава Богу! говорил граф, улыбаясь своей приятной улыбкой всякий раз, как Иван Иванович докладывал ему о новых успехах работы.

– Слава Богу, ваше сиятельство, повторял за ним Иван Иванович, с выражением благочестия во взгляде.

– Зиновьев – прекрасный человек, но с ним мы бы никогда не кончили, говорил граф.

– Никогда бы не кончили! утверждал с убеждением Иван Иванович.

Граф никогда больше не расспрашивал о старом архитекторе; он искренно сожалел о нем в первое время и даже вздохнул, когда Воскресенский, в разговоре о нем, молча, но выразительно пошевелил влажными своими пальцами по лбу, показывая, что тут как будто у старика что-то было не совсем в порядке; узнав от того же Воскресенского, что Зиновьев теперь, кажется, поправился и считает себя вполне вознагражденным за труды тем,

что представлен к знаку отличия, граф окончательно успокоился и перестал о нем расспрашивать. И где же, в самом деле, было ему думать о Зиновьеве, когда поневоле всякий вечер приходилось забывать множество лиц, являвшихся с просьбами в течение дня; когда едва было возможно придти в себя, среди многочисленных и разнообразных вопросов, ежедневно предлагаемых на обсуждение в различных комиссиях и заседаниях?

Хорошо еще, что у графа была сестра, одаренная большой энергией. Она неожиданно являлась в кабинет, усаживалась против брата и не говорила ему, как делала большая часть родственников: «*Mon cousin* или *cher Pierre*, вы решительно себя убиваете!» – что, мимоходом сказать, доставляло всегда графу большое удовольствие, – но прямо отрезывала: «Довольно! *Assez, mon frère!*» – и как только брат начинал возражать, прибавляла: «Россия не погибнет, если ты оставишь ее на несколько часов в покое!», после чего насильственно увозила его куда-нибудь за город, предупредив заранее, что приедет сегодня с графом обедать.

К многочисленным заботам графа прибавились с некоторых пор семейные неприятности. Его снова начинал беспокоить сын. На пути в южную Францию, куда отправили молодого человека для ознакомления с отраслью, обещавшей в будущем столь важные последствия для Кавказского края, молодой человек застрял в Париже. С тех пор, как он оставил Петербург, – назад тому два месяца, – отец и тетка не получали никаких известий; знали только, что он в Париже.

Граф и графиня обратились тогда к родственнице, княгине Завадской, жившей большую часть года в столице Франции, прося ее отыскать молодого графа и дать о нем какое-нибудь сведение. Княгиня, никогда прежде не писавшая петербургским родственникам, пожелала как бы за один раз исправить свою ошибку; ответ ее, на многих страницах, мог бы быть короче, если принять во внимание впечатление, сделанное им на графиню и особенно на графа.

Прежде всего, княгиня жаловалась, что Флу-Флу[11] ни разу к ней не показался, «не плюнул даже». Дальнейшие строки уведо-

ляли родителей, что Флу-Флу каждый день встречают проезжающим в коляске по Елисейским полям с знаменитой Berthe la Blonde, едва ли не опаснейшей из парижских актрис-кокоток. Она, говорят, совсем им завладела; он был с ней неразлучен и всюду являлся; утром – на скачках, перед обедом – в tir aux pigeons, вечером – в театре, и всегда на видных местах; в последние дни он окончательно себя компрометировал, войдя с ней под руку на благотворительный концерт, куда допускались только дамы известного круга...

– Мальчик этот истинно послан мне в наказание! За что только, не знаю! воскликнул граф, опрокидываясь на спинку кресел.

– Я полагаю, вздыхать и охать теперь напрасно: ни к чему не послужит, – произнесла графиня, сдвигая брови.

– Что делать, право, не знаю!.. Знаю только, что он всех нас разорит и сам погибнет! Прямо идет к этому... Боже мой, Боже мой, за что мне все это?!..

Графиня поднялась на ноги, несколько раз прошла по кабинету и тут же решила немедленно ехать за племянником. Она по-

смотрит, какая там такая Berthe la Blonde могла окрутить племянника настолько, чтобы заставить его забыть отца, тетку, приличия и, наконец, заставить делать долги! Посмотрит она, как Флу-Флу, – эта тряпица, а не человек, – не послушает ее, когда она обрежет ему все ресурсы и принудит его возвратиться домой!

Отъезд графини весьма обрадовал Ивана Иваныча. Он думал и так, и этак, и решительно не знал, как выпутаться в глазах графа, которому внушил поездку сына за границу. Граф нисколько на него не сердился, убежденный в его добром намерении, но положение, все-таки, было не совсем ловкое.

Воскресенский писал молодому графу, прося его захватить в Париже такую-то брошюрку, специально трактующую о пробочном производстве в Алжире, и прибавляя, что в этом заключается, главным образом, суть его поездки за границу, но не получил никакого ответа. Зная энергический, решительный нрав графини, он не сомневался в скором возвращении ее племянника.

В ожидании этого, он распорядился выпис-

кой помянутой брошюры и поручил перевести ее, как можно скорее, на русский язык: сделав в рукописи кое-какие выправки и изменения, он заметно успокоился. Иван Ивановичу не обманывал себя в трудности будущей задачи; он предвидел, сколько будет хлопот, чтобы поймать молодого графа в Петербурге, залучить его часа на два к себе в кабинет и заставить его прочесть при себе перевод. Составить потом докладную записку о полезном труде молодого человека... Боже мой! да это была такая безделица, о которой не стоило даже думать...

Как только граф выражал беспокойство насчет сына, Иван Иванович всякий раз спешил его утешить; но уже теперь в голосе его заметно было больше уверенности. Он придерживался того убеждения, что в этих слухах из Парижа было много преувеличенного; похождения молодого графа были не что иное, как мимолетное и совершенно естественное увлечение молодости. Очень жаль, конечно, что молодой граф не воспользовался поездкой в южную Францию; но собственно практическая сторона дела, для которого он был по-

слан, не имеет большой важности; суть дела заключается в теоретических данных. Все, что касалось этого предмета, находилось в руках Ивана Иваныча; он ни на минуту не сомневался, что молодой человек, приехав в Петербург, с примерным усердием примется за работу. Вопрос будет подготовлен, Иван Иваныч лично с ним займется; графу-отцу, – Воскресенский ручался за это, – останется только, в конце концов, радоваться за сына.

– И вы думаете, Иван Иваныч, он будет в самом деле на это способен? недоверчиво качая головою, спрашивал граф.

– Убежден, ваше сиятельство! с твердостью во взгляде и голосе возражал Воскресенский.

– Благодарю вас, благодарю!

Граф протягивал руку, но, прикоснувшись к влажным пальцам Ивана Иваныча, напомиравшим ему всегда лягушку, не мог победить себя и, несмотря на растроганные чувства, тут же спешно, запрятав руку в карман, украдкой утирал ее о носовой платок.

В частных беседах своих с графом Воскресенский не упускал случая также убеждать его осмотреть здание нового *центрального*

приюта; мысль эта всегда встречала живое сочувствие; граф обещал, назначал даже день, но всякий раз по какому-нибудь непредвиденному обстоятельству, — больше по недостатку времени, — не мог исполнить обещания. Воскресевский приступил тогда настоятельнее, как говорится: сильнее нажал клапан. Все в *центральной приюте* было готово: открытие назначено через месяц самим графом; необходимо было показаться, хотя бы с тем, чтобы произнести свое последнее слово, поощрить участников, которые столько раз уже собирались и ждали только, как бы увидеть высокого своего покровителя.

День был, наконец, безотлагательно назначен. Граф, пригласив заблаговременно Ивана Иваныча ехать вместе, находился в прекрасном расположении духа. Приметив, что Иван Иваныч ежится в углу кареты, граф поспешил закрыть окно, извиняясь, что раньше не подумал об этом.

День был действительно сырой и холодный. Убедительнейшим доказательством могли служить скорченные фигуры и синие носы на лицах персонала *центрального приюта*,

собравшегося у входа главного здания в ожидании приезда их покровителя. Ожидали, однако ж, недолго; все, по-видимому, тотчас же оживились и согрелись, как только карета графа остановилась у подъезда. Тут во фраках и белых галстуках находились будущие наставники, доктор, фельдшера, сиделки, две кормилицы в голубых кокошниках и красных сарафанах, несколько сестер милосердия и значительная группа служителей, большею частью с шеvronами на рукавах и в форменной одежде.

У графа был всегда достаточный запас приветливости для тех, кто заставлял его в хорошем расположении духа. Он здесь очаровывал всех без исключения: кому весело кивнул, кому сказал несколько слов, кому пожал руку.

Он шел впереди; подле него, сбоку, едва слышными шагами подвигался Иван Иванович, изредка оборачиваясь, когда шум следовавшей толпы становился слышнее.

Больше часу продолжался обход здания. Ничего не было пропущено. Граф остался всем очень доволен. Особенной похвалы удо-

стоился, впрочем, двор, крытый стеклом и заключавший в себе детский сад и гимнастику. Граф внимательно осматривал каждый предмет, расспрашивал обо всем. С большим одобрением встречено было также осуществление мысли оклейки стен нравственно-назидательными картинками, сценами из отечественной истории, долженствовавшими «поднять дух», как говорилось в программе, и душевспасительными печатными изречениями; перед некоторыми из них граф так долго останавливался, что уже под конец у Ивана Иваныча начали гореть пятки и подкашиваться ноги.

– Теперь, ваше сиятельство, не угодно ли будет в церковь пожаловать? проговорил Воскресенский, делая за спиною знаки, чтобы скорее отворили дверь, сообщавшую церковь со столовой.

Но дверь оказалась уже отворенною. Ивана Иваныча сначала неприятно поразило, что в дверях никто не встретил почетного посетителя, но неудовольствие его продолжалось всего секунду. Одобрительная улыбка показалась на лице его при виде Лисичкина и Баб-

кова, стоявших на местах своих. Последние только, казалось, ничего не видели, ничего не замечали: до такой степени каждый увлечен был своей работой. Стоя на табурете подле одной из арок с палитрой и кистями в левой руке и поддерживая правую руку муштабелем, Лисичкин усердно водил кистью и, сколько можно было заметить, все по одному и тому же месту; на щеке, руках и передней части сюртука виднелись следы красок. Бабков, пригнувшись к одной из каменных балясин над ступеньками, соединявшими пол с алтарем, как бы усиливался добиться, насколько все это твердо было установлено; он был в холщовой блузе, надетой сверх сюртука, и весь также испачкан известкой, хотя вокруг было совершенно чисто и трудно было запачкаться.

Тихо ступая на плоских своих подошвах, Воскресенский наклонился к графу и, улыбаясь, указал ему глазами на художников; граф остановился, приложил палец к губам и неожиданно кашлянул.

— Ах! вскричал Лисичкин, чуть не сваливаясь с табурета от неожиданности.

Он не упал, однако ж: с палитрой в одной руке, с муштабелем в другой, он приблизился к именитому посетителю, выказывая на лице смущение человека, застигнутого врасплох.

– Простите великодушно, ваше сиятельство... Я перед вами в таком виде...

– И меня также... Уж не взыщите, проговорил Бабков, подходя, в свою очередь, и растопыривая пальцы перепачканных рук.

– Напротив, вы извините, что прервал вас так неожиданно, сказал граф, любезно улыбаясь, – у вас, как я вижу, прекрасно идет дело... подвигается...

– Работаем, ваше Сиятельство, трудимся, с нежностью во всех чертах сказал Лисичкин.

– Пачкаемся, ваше Сиятельство! Надо прямо сказать: пачкаемся!

– Давай Бог каждому пачкаться так, как вы, господа, это делаете ради общественной пользы, заметил граф, посылая каждому приветливый знак рукою, – и искренно благодарю вас! С своей стороны, я также постараюсь... И давно уже вы здесь занимаетесь?..

– Третий месяц...

– Как? Разве так много оставалось работы?

– Довольно-таки, ваше сиятельство! Много было сделано, но многое пришлось переписать заново... В одном месте требовалось смягчить... в другом усилить, тут придать вкусу, здесь придать теплоты тону, начал Лисичкин, выводя палитрой и муштабелем по воздуху нежные, округленные линии.

Бабков неожиданно перебил его.

– Что говорить, ваше сиятельство, – приступал он к графу, который любознательно осматривал стены, – надо правду сказать: были такие здесь грешки да прорешки... Вы меня великодушно извините; я человек простой, как есть ломоть ржаного хлеба, но я всегда правду скажу: пришлось-таки здесь повозиться... Вот теперь извольте сами посмотреть: прорешек-то и нет; сладили, значить!..

– Считаю долгом предупредить ваше сиятельство, что здесь очень сыро... и легко, очень легко простудиться... Гг. художники привыкли к этому, но вам... считаю долгом предупредить вас, – произнес Иван Иванович, желавший сократить посещение церкви, так как, с одной стороны, цель была достигнута, с другой – он начинал чувствовать холод в но-

гах, несмотря на то, что просил у графа позволения остаться в резиновых калошах.

Поблагодарив еще раз художников, граф вышел из церкви. Толпа, ожидавшая его в столовой, снова сомкнувшись за его спиной, сопровождала его до той минуты, пока он не сел в карету.

Граф был очень доволен. Во время пути он несколько раз признательно жал руку Ивану Иванычу, который всякий раз, от избытка чувств, моргал увлажненными глазами.

XV

В середине ноября Алексей Максимыч получил официальное печатное приглашение на освящение церкви и открытие *центрального образцового приюта*, имевшего целью «всеобщее, всестороннее распространение благотворительности в Российском государстве». Приглашение получено было во время вечернего чая; вся семья находилась в полном составе.

Алексей Максимыч аккуратно вложил приглашение в конверт, снял очки и произнес с расстановкой:

– Скоро же это они состряпали!.. Молодцы!.. Посмотрим... посмотрим! – подхватил он, стараясь казаться веселым; он попробовал даже улыбнуться, но улыбка вышла менее удачна.

Сережа и Маруся переглянулись.

– Ты, дедушка, так говоришь, как будто собираешься туда ехать, – сказал племянник.

– Пойду, конечно... благо приглашают... Неучтиво было бы отказаться, – прибавил он с добродушной иронией.

Племянник поднялся с места в начал ходить по комнате, нетерпеливо проводя ладонью по волосам.

– Нет, ты не шутишь?.. Ты в самом деле собираешься ехать? – спросил он, неожиданно останавливаясь.

– В самом деле поеду, – спокойно отозвался дедушка. Племянник вспыхнул.

– Тебе, вероятно, снова хочется встретиться с этими прекрасными господами... которые... которые так благородно с тобою поступили! – заговорил он резким голосом. – Решительно не понимаю тебя!.. Скажи на милость, что влечет тебя туда? Что ты будешь там делать? Зачем? С тем, разве, чтобы, как я говорю, полюбоваться лишний раз на милого г. Воскресенского?.. Кстати, один знакомый архитектор, имевший с ним дело, прозвал его «Гартюфом из Средней Мещанской улицы». Чего тебе от них надобно? Что ты там потерял?

– На твоём месте, я бы ни за что не поехала, дедушка, – сказала Маруся.

– Ну, стоворились... Как и следует, впрочем, быть, – перебил Алексей Максимыч. –

Ты, мой дружок, полно волноваться; сядь-ка лучше и не горячись... Очень понимаю, что заставляет вас обоих так говорить. Людей, которых я там встречу, уважаю я не больше вашего; знаю, что они, по большей части, не... нег... нехорошие люди...[12] Скажу вам, с своей стороны: оба вы превратно понимаете причину, которая – не то чтобы заставляла меня туда ехать, но располагает к этому; не ехать значило бы прямо показать им: как, дескать, вы меня глубоко обидели, и смотреть-то на вас не хочу! Мне, напротив, приятно показать им мое полное равнодушие к их поступку; смотрите, дескать: и жив, и здоров, и пришел на вас полюбоваться...

Сережа и Маруся не верили как будто в искренность такого довода. Дедушка был теперь совершенно здоров и, по-видимому, окончательно успокоился; но им было известно также искусство его скрывать перед ними свои тяжелые ощущения и показывать улыбающееся лицо, когда на душе скребли кошки. Кто поручится в том, что горе изгладилось окончательно и не живет где-нибудь в тайном углу его сердца?

Оба всеми силами старались уговорить его; внутреннее чувство подсказывало им, что эта поездка не обойдется без вредных последствий, без нового потрясения.

Опасения их могли быть весьма основательны. Оскорбленное чувство не столько самолюбия, сколько справедливости слишком глубоко проникло в самую глубь существа старого архитектора, чтобы успеть так скоро вымереть; больное место еще оставалось. Алексей Максимыч сам себя обманывал, объясняя племяннику повод, располагавший его к такой поездке; больное место еще не зажило; оно-то собственно и влекло его...

В нравственной и физической природе человека существует большое сходство ощущений; к больному месту тянет прикоснуться; есть даже удовольствие беречь рану. То же самое бывает с горем, с минувшим нравственным потрясением; вопреки рассудку, больное чувство не хочет успокоиться: оно рвется к предмету своего раздражения. Могила зарыта, все кончено, ничем уже не вернешь к жизни, — нет, надо бежать к этой могиле, надо растравлять воспоминания, надо прибавить

себе терзаний: в этом есть также своя отрада...

Когда наступил день освящения церкви и открытия *центрального образцового приюта*, Алексей Максимыч, несмотря на все свои старания казаться равнодушным, не мог ввести в заблуждение племянника и Марусю, которые внимательно за ним следили. Он, очевидно, провел ночь без сна, суетился как-то особенно, выказывал нетерпение и был рассеянее обыкновенного. Сережа и Маруся, каждый с своей стороны, снова было коснулись вопроса поездки; старик окончательно заупрямился. Он послушал их только в том, что тепле закутался; в остальном не было никакой возможности уговорить его.

О чем он думал во всю дорогу, решить трудно; во всяком случае мысли его не были веселы. Да и все вокруг не располагало к веселью. День был холодный и пасмурный; тучи стояли неподвижно и неизменно; их цвет предвещал, что вот-вот сейчас закружатся в воздухе первые хлопья снега. По городским улицам все еще было сносно: ходили и ехали люди; но там, в глухих местах, где-нибудь на

конце Петровского острова, по берегу залива... Боже мой, как там теперь должно быть уныло и безотраднo на Петербургской стороне!..

Алексея Максимыча опередило несколько экипажей с разряженными дамами и кавалерами в мундирах; в открытой коляске, но плотно закутанный в шубу, проехал в треугольной шляпе с белым плюмажем господин, поразивший Зиновьева сходством с птицей пеликаном: такой же длинный и плоский, прижатый к подбородку нос и крошечные глазки, близко поставленные один к другому... Все это, очевидно, устремлялось туда же, куда направлялся сам Зиновьев.

Подъехав к воротам громадного здания *центрального образцового приюта*, на одном конце которого высоко подымалась крыша церкви, Алексей Максимыч должен был отпустить извозчика: до такой степени двор был заставлен экипажами; одни подъезжали, другие устанавливались кричавшими жандармами.

Прихожая, несмотря на ее вышину и размеры окон, показалась Зиновьеву несколько

темною. Правда, день был такой, да и стены вокруг казались совсем черными от повешенных шуб и шинелей. Много также шуб и всякой верхней одежды виднелось на руках многочисленных лакеев, большею частью либрейных; многие из них укладывали свою ношу на скамьи и усаживались на ней с большим комфортом; некоторые успели уже задремать и клевали носом; один у печки, так тот совсем уже, как говорится, *закатился* и пускал такой храп, что надо было удивляться, как никто не будил его. Между лакеями виднелись городовые, которые также, казалось, сильно скучали.

Из прихожей вела во второй этаж широкая парадная лестница; перила ее, еще не конченные, покрывались коврами, отчасти присланными графом, отчасти взятыми на прокат.

Служба в церкви давно уже началась, но Алексей Максимыч не старался даже войти; густая толпа заслоняла дверь; проходя мимо, можно только было видеть над головами блеск свечей, тускло горевших в воздухе, насыщенный ладаном и человеческим дыхани-

ем, к которому примешивался запах духов; из дверей несло жаром, как из жерла раскаленной печки; вместе с ним приносилось пение, то умолкавшее и как бы заглушаемое густотою атмосферы, то снова поражавшее слух и как бы подымавшееся в высоту, когда подхватывали дисканты. В столовой, перед церковью, происходила также порядочная суета; целая половина ее заставлена была сдвинутыми накрытыми столами, вокруг которых суетились официанты. К ним поминутно выскакивали откуда-то и одновременно два маленькие чиновника, совершенно похожие один на другого, точно их выбили по одному штампу; у каждого на левом отвороте вицмундира красовался бант из лент одинакового цвета; они хлопотливо осматривались во все стороны, отдавали какие-то приказания, наскоро шептались и снова разбегались в разные стороны, как дробинки, внезапно брошенные на каменный пол.

Алексей Максимыч прошел мимо и стал бродить по всем комнатам, двери которых были теперь настезь открыты. Лицо его было скорее задумчиво, чем встревожено печ-

лью. Раз только оно как будто несколько омрачилось, когда глаза его случайно встретили портрет графа, висевший в роскошной золотой рамке на стене в зале совета. Он прочел на фоне портрета, внизу, имя Лисичкина, имя это напомнило ему то, о чем он прежде старался не думать.

Он собирался уже перейти в соседнюю комнату, когда неожиданно увидел в нескольких шагах от себя господина небольшого роста, несколько кривобокого, несколько прихрамывающего, который любознательно к нему присматривался, нетерпеливо моргал маленькими, живыми глазками, заострял носик и вообще показывал непреодолимое желание вступить в разговор, но не решался начать без явного поощрения. Он был во фраке и единственным его украшением был кисейный галстук сомнительной белизны. Наконец, он уже не мог совладать с собою и, забрасывая вперед левую ногу, ковыляя, подошел к Зиновьеву.

– Извините меня, милостивый государь, заговорил он в ту самую минуту, как Алексей Максимыч готовился пройти дальше, – если

не ошибаюсь... я, кажется, имею честь говорить с архитектором, г. Зиновьевым...

– Точно так...

– Вы, вероятно, меня не помните, но я уже имел честь встречать вас... Раз даже мы сидели рядом на лекции о спиритизме в Соляном городке... Моя фамилия Бериксон... Андрей Андреевич... Хотя окончание на сон, но я не еврей, смею уверить! Дед из Курляндии, отец петербуржец, мать москвичка!.. Очень, очень рад встретить вас, м. г.; вдвойне рад, чтобы высказать вам... Знаю, м.г., знаю, я все знаю! Знаю, как с вами здесь поступили... и вполне выражаю вам свое сочувствие... Позвольте пожать вашу руку... Все они, я вам скажу...

Тут Бериксон схватил обе руки Зиновьева и, пригнувшись к его уху, шепнул какое-то слово.

– Помилуйте, я совсем не так о них думаю, промолвил, краснея, Зиновьев.

– Думайте, как хотите, но это так!.. Поверьте, я их всех знаю! Этот Воскресенский, это, помилуйте-скажите, просто...

Он снова быстро пригнулся к уху собеседника и снова ввернул какое-то крепкое слово.

– Нам надо бы, однако ж, направиться ближе к церкви, иначе мы опоздаем к выходу из не я, заметил Алексей Максимыч, которому начинали казаться странными выходки незнакомца.

– Пойдемте, пойдемте! с живостью воскликнул Бериксон, захватывая в поспешности одною ногою больше пространства, чем следовало, – я расскажу вам, между тем, что сделал со мною этот самый Воскресенский. Было, знаете, такое предприятие: нашли в одном месте руду; составила компания; меня послали к нему, как доверителя; подал ему докладную записку. Прекрасно. Проходит месяц, – нет ответа, другой месяц, третий, – помилуйте-скажите, – все ничего! Что ж бы вы думали он сделал? Воспользовался нашим проектом! Кое-что в нем поправил, да и подал от себя в тех видах, изволите ли видеть, чтобы казна этим делом воспользовалась... Казна, понимаете, ему наплевать; шутка вся в том, чтобы выказать усердие, – да-с! Ему, конечно, за это сюда[13], а нам шиш! Шиш, м. г., и ничего больше!.. Но ведь, кажется, служба кончилась и начали выходить из церкви...

Прежде всего выскочили из толпы два маленькие чиновника, которых Бериксон тотчас же указал Зиновьеву, назвав их *попугайчиками*; он объяснил, что хлопотливость их особенно возбуждалась в этот день опасным соперничеством одного красивого камер-юнкера и чиновника по особым поручениям, некоего Стрекозина, которым тоже хотелось выказать свое усердие в качестве распорядителей. За *попугайчиками* потянулись ряды детей – питомцев *центрального образцового приюта*; они, во всему было видно, не успели еще вкусить от благодеяний нового учреждения; лица их были тощи и зеленовато-бледного отлива; обстриженные гладко под гребенку, в длинных серых кафтанчиках, они казались точно наскоро набранными из больниц; в суете, предшествовавшей торжеству настоящего дня, многим из них вероятно перемешали обувь, потому что некоторые из маленьких, очевидно, путались в огромных сапогах, тогда как другие пожимали ноги от боли в узкой обуви... Их наскоро устанавливали по обеим сторонам выхода; больше других суетились *попугайчики* и регент, громадный че-

ловек с пучком черных волос на голове и таким лицом, как будто он только что кого-то зарезал.

Из дверей церкви вышел дьякон со святой водой и священник; дальше повалили певчие в казачьих кунтушах с перекинутыми за спину рукавами. За ними вышло несколько лиц из духовенства и выставились шитые мундиры, фраки и разноцветные дамские шляпки; вперед выдвинулся красивый камер-юнкер, также с бантом на груди; к нему мгновенно подскочил Стрекозин; оба поспешно начали упрашивать всех выходящих становиться крыльями по сторонам выхода.

Наконец, дальше показался граф: его приветливая улыбка на устах, в глазах, во всех чертах как бы светила над головами, который наклонялись по мере его приближения.

Граф вел под руку княгиню Зинзивееву, председательницу комиссии «для предварительных мер против распространения золотухи и родимчика между детьми сельского населения»; за ним шла графиня под руку с дряхлым стариком, который едва передвигал ноги, изнемогая под бременем орденовских зна-

ков. Рядом с графиней, – и несколько пригибаясь к ней, – шел Воскресенский, державший в руке ее шаль. «Взгляните, у него опять новая звезда... Помилуйте-скажите, за что же?» шепнул Бериксон на ухо Зиновьеву. Иван Иваныч на ходу любезно разговаривал с баронессой Бук, председательницей «общества для снабжения дешевыми игрушками детей болгарского населения» и т. д.; тут же подле выступали величественная княгини Чирикова и рядом с нею томная благотворительница г-жа Бальзаминава. Дальше теснились другие пары, между которыми, играя локтями, старалась выскочить вперед госпожа Шилохвостова; неподалеку выставилась бледная тоскующая голова молодого графа, недавно привезенного теткой из Парижа; он был в камер-юнкерском мундире.

– Уж испекли, готовь! С которых это пор? шепнул опять кривобокий Бериксон. – Впрочем, прибавил он как бы мимоходом, – истинные, подобные ему таланты, не нуждаются в покровительстве!..

Еще дальше, как волны, надвигались члены совета, попечители, наставники, купцы,

среди которых, на аршин выше других головою, выставлялся Блинов, воспитанник Воскресенского по части уменья возбуждать великодушные жертвователей. У всех решительно лица и шеи были красны и влажны, как у выходящих из бани; всем приятно было освежиться; удовольствие это выражалось приятными улыбками, поклонами, пожатием рук, приветствиями.

Выйдя на середину столовой, граф остановился. Е ту же секунду Иван Иваныч отделился от графини и сделал головою выразительный знак; регент сдвинул брови, взмахнул руками, как бы хотел взлететь на воздух, и сотня тоненьких голосов пропела кантату, арочно сочиненную для этого торжественного случая.

– Très bien! – проговорила княгиня Зинзивеева.

– Lis sont pourtant bien laids, – заметила графиня.

– Прекрасно, мои милые... прекрасно! поспешил заглядить граф, кивая головою и детям, и регенту.

После этого шествие опять тронулось в об-

ход по всем залам учреждения.

Алексей Максимыч отошел в сторону, но случилось так, что граф его заметил и прямо подошел к нему.

– Очень рад вас видеть, г. Зиновьев, сказал он, останавливаясь, между тем как следовавшие за ним лица обступали его вокруг. – Вот, продолжал он, обводя ласковыми глазами присутствующих, – вот кому мы обязаны прекрасной церковью, которою сейчас восхищались; он ее выстроил, он же так прекрасно ее и украсил! Еще раз благодарю вас, благодарю и поздравляю! прибавил он, намекая на знак отличия, к которому представил Зиновьева.

Шествие пошло дальше. Зиновьев увидел в толпе белокурую голову Лисичкина, но заметил также, что он тщательно старался избегать его взгляда; как только глаза их случайно встречались, Лисичкин изгибался как вьюн и пропадал за соседними спинами. Пред Алексеем Максимычем раз-другой промелькнула также волосатая голова Бабкова и сверкнули его крупные зубы; но и тот также старательно избегал встречи. От внимания старика не ускользнуло, однако ж, что многие оста-

навливали *лукавого блондина* и *хитрого мужика* и начинали с чем-то поздравлять их; один из поздравляющих подсунул даже пальцы под орден Лисичкина и несколько раз приподнял его на ладони, как бы желал узнать, сколько было в нем весу.

Но задние пары надвигали на передние и все снова двигались за графом по дороге, расчищаемой перед ним двумя маленькими близнецами и старавшимися сбить их с выгодной позиции красивым камер-юнкером и Стрекозиным, которым также хотелось попасть в луч зрения графа. Он уже исчез вдали, но в задних рядах все еще напирали; шествию, казалось, конца не было; только с того места, где стоял Зиновьев, показывались теперь уже одни спины, шитые воротники и затылки; изредка разве выставлялась из-за бакенбард профиль головы, любезно наклонявшаяся к соседу.

Время от времени из двигавшейся вперед толпы отделялось несколько человек и составлялись у окон отдельные группы. Одна из таких групп образовалась невдалеке от Алексея Максимыча; в ней, — как объяснил ему

всесведущий Бериксон, – больше всех заслуживал внимания Блинов. Из того, что говорил теперь Блинов, следовало заключить, что покровитель его, Иван Иванович, на этот раз обманул его ожидания.

– Помилуйте, твердил Блинов, напирая то на одного из своих слушателей, то на другого и нисколько не скрывая своего негодования, только понижая голос из предосторожности, – помилуйте, я ли не хлопотал для этого заведения? Обещано было и то, и сё, – что ж вышло? Все получили, – я ничего!.. Главное, что обидно? Труды и время потеряны! То, что здесь было мне обещано, я мог получить из другого ведомства...

Он умолк, услышав шум возвращавшегося шествия.

Стол, между тем, были уже расставлены по всей столовой; на одном из них, предназначавшемся для именитых лиц и дам, перед каждым кувертом красовался пышный букет цветов. Два купца, – из коих один известный уже Жигулев, – которых Иван Иванович уговорил устроить завтрак, с видимым удовольствием глядели на приготовления и поглажи-

вали бороды.

Пробежали опять *попугайчики*, шепнули что-то друг другу и разбежались; один устремился к главному официанту, другой к Ивану Иванычу, предупредить, что все готово.

Но теперь уже торжественное шествие двигалось как-то вяло; на всех лицах проступало утомление; многие выражали смертельную скуку. Хотя граф все еще продолжал улыбаться, но видно было, что и он также уходил-ся.

Красивый камер-юнкер, в перебивку с одним из *попугайчиков*, шепнул что-то Воскресенскому, тот наклонился к графу, граф кивнул головою и повел свою даму к столу, украшенному букетами. Последовал новый знак со стороны Ивана Иваныча. Регент распротер руки, и мальчики, выстроенные рядами, хором подхватили предобеденную молитву. С окончанием пения, место регента заступили два гувернера; один стал во главе мальчиков, другой в конце последнего ряда, и оба повели их куда-то; но дети беспрестанно сбивались и никак не могли попасть в ногу, вероятно, еще по непривычке ходить по паркету, а, может, и

потому также, что мысли их путались при виде чудных лососин, обложенных раками, которых официанты поддерживали в отдалении на серебряных блюдах.

Священник, между тем, успел благословить трапезу. Граф опустил в кресло, и все вокруг зашумело, усаживаясь по местам.

– Сядемте-ка рядом, – шепнул Бериксон Зиновьеву.

– Я завтракать не стану...

– Я также... только, знаете, теперь, как-то неловко уйти... Сядемте для проформы...

Алексей Максимыч согласился, и они уселись на дальнем конце стола.

В первое время все как бы успокоилось. Внезапно, со стороны почетного стола, все разом зашумело и все встали. Послышался голос графа. Невозможно было издали разобрать его слоги; но в тот же миг мужские и женские голоса слились в один звук; со всех сторон поднялись руки и замахали платки; за первым залпом последовал второй и третий и снова все на минуту успокоилось. Нежданно поднялся Иван Иванович. Бокал дрожал в его руке; большие мясистые уши его были блед-

ны, как у мертвеца; белые зрачки его беспокойно задвигались по направлению к тому месту, где сидел граф. Наступило молчание.

– Милостивые государыни, милостивые государи! проговорил он глухим, взволнованным голосом, – всех нас соединило здесь одно чувство, – чувство благодарности, чувство сердечной признательности к тому, кто поспешил ответить на душевный желания наши, прибавив к существующим уже благотворительным учреждениям любезного нашего отечества новое убежище для неимущих и страждущих... Новое учреждение есть не что иное, как выражение высокой души его учредителя... Он положил в него свою мысль, свой труд, свое сердце!.. Здоровье его сиятельства графа! Ура!.. уррра!!.. а!., а!..

Стены *центрального образцового приюта* дрогнули от напора криков. Со всех концов снова замахали платками и поднялись руки с бокалами. В одно мгновение граф был окружен толпою. Из-под протянутых к нему рук беспрестанно выскакивали головы, часто стукавшиеся друг о дружку. Купец Жигулев нечаянно так сильно двинул подбородком в глаз

одному из попугайчиков, что тот вскрикнул и чуть не выронил бокала на сапог графа.

Алексей Максимыч не видал этого, но ему потом говорили, что в эту торжественную минуту граф прослезился; он действительно казался растроганным, когда благодарил за сделанную ему честь, и затем предложил тост за здоровье Ивана Иваныча, назвав его своим усердным помощником.

Тут уже пошли один за другим разные тосты. Предлагали здоровье председательниц и председателей, членов совета, великодушных жертвователей, попечителей, наставников и под конец всех сочувствующих делу благотворительности. Граф всякий раз вставал и, слегка приподняв бокал, посылал приветливый знак рукою.

– Граф, я вам скажу, сам но себе добряк, – шептал между тем Бериксон своему соседу, – одно жаль; дал себя оплести Воскресенскому! И хороша, знаете, говядина, а сядет на нее скверная муха – все испортит!.. Тут уже не муха, а целый шмель! Я ведь его насквозь знаю!.. Да и все остальные мне хорошо известны... Вот, например, эту толстуху, которая

там пыжится[14], также знаю... Когда начиналась война, она везде с кружкой ко всем приставала... Раз даже в Летнем саду видел ее в раскрашенной беседке, – знаете, где разыгрывали томболу для каких-то сирот... Сама, знаете, вертит одной рукой колесом и всем умильно улыбается, а другая-то рука, – смотрю: шлеп за спиною какую-то девочку из самых этих дежурных сирот... Также, знаете, благотворительница!..

Стук ножами и вилками о тарелки и стаканы неожиданно прервал Бериксона. За одним из столов поднялся лысый господин с распущенными рыжеватыми бакенами; дав тишине установиться, он обратился лицом к графу и начал говорить речь.

– Все врет, не слушайте! принялся снова нашептывать Бериксон. – Я его также хорошо знаю; сегодня говорит о милосердии, вчера распространялся о пользе общественных клозетов... Говорить обо всем с одинаковым чувством, и речь всегда одна и та же: только слова переставляет... Также, знаете, деятель и благотворитель! Кого он облагодетворил – неизвестно, но себя облагодетворил наилучшим ма-

нером; смотрите-ка, как украсился! Ну, и чин также... и другим также кое-кем округлил себя... С последним чином случилась даже история: получил он его за бал.

– Как за бал? неволью вырвалось у Зиновьева.

– Да, за костюмированный бал, который устроил он с француженками для «Общества Полярной звезды»; говорят даже, одну из этих француженок возили почти раздетую в какой-то колеснице, под тем предлогом, изволи-те ли видеть: Флору, богиню цветов, изображала... Представлен был к следующему чину; в тот год это была уже третья награда; первую получил из тюремного ведомства, вторую за особенные заслуги, как член совета попечительства о слепых вдовах, третью через посредство «Полярной звезды»; многие из них так делают; у каждого по несколько таких латеек: здесь не выгорело, тут цапнет! Я их всех знаю, этих благотворителей, или, вернее, акробатов благотворительности... И между ними как какой-нибудь Чинизелли...

– Чинизелли? – спросил удивленный Зиновьев.

– А Воскресенский-то! Разве он не директор благотворительного цирка?.. А тот-то, смотрите, все еще не кончил своей речи; все тянет свою канитель, не замечая, что всех уже начинает тошнить от скуки...

Бериксон был прав. Всюду, куда ни обращался взор, головы принимали наклоненное положение; на лицах, смотревших прямо, изображались тоска и уныние; некоторые из присутствующих, не церемонясь, разговаривали. Другие начинали выказывать явные знаки нетерпения. В зале становилось нестерпимо душно: к тому же, сумерки заметно на­двигались. Голос оратора едва уж слышался; наконец, он замолк; кое-где слабо захлопали в ладоши; но звуки эти мгновенно пропали среди внезапного гама голосов, шарканья ног и шума передвигаемых стульев. Все вдруг за­двигалось и заколыхалось.

Случайно ли, или умышленно, но в общей суете Алексей Максимыч потерял все­сведущего Бериксона. Он думал о том только, как бы скорее выбраться к выходной двери, за­благовременно попасть в прихожую и отыс­кать свое пальто. В прихожей так уже стемне-

ло, что едва можно было различать лица, Зиновьев рассмотрел Блинова потому только, что тот стоял неподалеку от него и у самого окна. Черты Блинова были по-прежнему напряжены и выражали расстройство; надевая медвежью шубу, он, в то же время, горячо о чем-то толковал двум господам, стоявшим перед ним в шляпах. Зиновьев, проходя мимо, расслышал только следующие слова:

– Надул, надул!.. Я бы пальцем о палец не ударил, кабы знал прежде... помилуйте, потерял здесь то, что мог получить из другого ведомства...

Зиновьев очень обрадовался, когда успел, наконец, выбраться на свежий воздух.

Предположения племянника и Маруси несколько не оправдались; дедушка вернулся домой действительно не совсем веселым, но затем не последовало ничего особенно неблагоприятного...

XVI

Два года спустя после освящения церкви и открытия *центрального образцового приюта*, под осень, в квартире Зиновьева было необыкновенно весело. Не считая, что это был день его рождения, в этот день праздновалось также возвращение Сережи из Италии, где провел он год после получения в академии, за свою программу, первой золотой медали. Немало прибавляло к радости еще то обстоятельство, что Сережа возвращался не с пустыми руками. В Италии он познакомился с русским богачом и по его заказу исполнил ему проект дома; проект понравился, и молодому архитектору поручено было его исполнение, как только он вернется в Петербург.

Сережу также ожидала дома приятная новость: академия купила у дедушки весь запас его рисунков, обязавшись ежегодно выплачивать ему известную сумму.

Но радости и горе никогда по свету не ходят одиноко. Если уж то или другое повернулось лицом, так уж валит безо всякого удержу.

Месяц спустя, новая радость посетила дом Алексея Максимыча: праздновалась свадьба давно, можно сказать, с самого детства полюбивших друг друга Маруси и Сережи. Посторонних никого почти не было, но от этого не было скучнее. Алексей Максимыч так расхотелся под вечер, что не удовольствовался танцевать с молодой, но протанцовал, выделяя по-старинному маленькие вычурные па и балансе, две кадрили, – одну с Катей, другую с Соней.

Если в течение этих последних дней ни разу не говорилось о неприятностях, испытанных когда-то дедушкой при постройке церкви *центрального образцового приюта*, на этом вечере подавно никто об этом не вспомнил. В случае, если б кто-нибудь и вздумал коснуться этого предмета, он встретил бы со стороны дедушки полнейшее равнодушие. Он и прежде, в трудные дни, не помнил зла, – до таких ли чувств было ему теперь, когда сердце переполнялось столькими радостями?

Ему редко даже приходили на ум лица, с которыми имел он дело при постройке церкви. Ни с кем из них он никогда не встречался.

Живя постоянно в семье и окруженный художественными интересами, он, без всякого сомнения, совсем бы забыл о них, если б, проходя однажды по Невскому проспекту мимо Милютиных лавок, не встретил случайно кривобокого Бериксона.

– Помилуйте-скажите, воскликнул Бериксон, обрадовавшись ему, как будто они не только вместе детей крестили, но родились от одной матери, – куда вы тогда пропали?

– Когда? спросил удивленный Зиновьев.

– Да тогда, после этого обеда! с такой живостью подхватил Бериксон, что можно было думать, будто обед, о котором он говорил, происходил накануне. – Очень рад встретиться... Сейчас узнал новость... Но, может быть, вы уже слышали?..

– Нет...

– Тем лучше! Вообразите: Воскресенский получил новую награду! Представлен был к ней обществом «Распространения нравственных правил в низменных классах петербургского населения и преимущественно между ломовыми извозчиками»... Что вы на это скажете?

Нимало не смущаясь тем, что собеседник ничего не возразил, Бериксон продолжал с возрастающим воодушевлением:

– А граф-то, бедный граф! Представьте: лишился сына! В каком-то ресторане, в четыре часа ночи, – хлоп – и не стало! Памятник поручен архитектору Бабкову... Разумеется, Воскресенский подвернул его графу. Он теперь выводит Бабкова; у них общее дело: строят новый приют для общества «Призрения детей штукатуров и кровельщиков, лишившихся жизни во время производства работ»... Тут, понимаете, опять сюда попадет! [15]. Ну, а с живописцем, которому тогда протезировал, разошелся. Живописцу хотелось, – вынь да положь, – сделаться главным преподавателем рисования в *образцовом приюте*; разумеется, с тем опять, чтобы что-нибудь сюда зацепить [16]. Воскресенский сначала было определил его, но тут же оказалось, что живописец совсем рисовать не умеет! Ну, ему и отказали; он принял это в обидную для себя сторону, рассердился и теперь ищет другую лазейку... С этой толстой... как бишь ее?., да, Шилохвостовой... также случилась история; я не успел

еще точно расследовать, в чем дело, в чем собственно ее уличили, – знаю только, что уличили!.. Но она дама юркая, вывернется! Как-нибудь свои же выручат; общий интерес, знаете! «Благотвори сколько хочешь, забирай сколько можешь, но не доводи до скандала», – вот и вся задача... И они правы, м. г., правы! Пример перед вами, живой пример, – заговорил, воодушевляясь, Бериксон, – не имел возможности действовать по благотворительной части, я, м. г., как родился, так и остался; мне за пятьдесят лет, – удостойте меня взглядом; у меня ничего нет; даже медалишки какой-нибудь, и той не имею! Будь я благотворитель, не то бы было! Благотворительность, скорбь о народе, общественная польза, забота о ближнем для иных, доложу вам, тот же банк; клади в него все, что имеешь, – получишь самые крупные проценты!..

– Вы, кажется, слишком уж строги, произнес Алексей Максимыч, с тем, чтобы сказать что-нибудь, – не все же так... есть исключения; по-моему, благотворительность...

– Вы как ее понимаете, осмелюсь спросить?

– Право, не знаю, как объяснить вам... Делать добро просто...

– Просто! не дал опять договорить Бериксон. – Просто! Это значит по-христианскому: помогай так, чтобы правая твоя рука не знала, что совершает левая! Я против этого ничего не имею; да и кто ж против этого что-нибудь скажет? Я говорю о той благотворительности, которая мечется в глаза и оскорбляет в нас и нравственное, и религиозное чувство! Помилуйте-скажите, какая тут благотворительность, когда одни *жертвуют* деньги с тем, чтобы получить что-нибудь, а другие на эти деньги *благотворят* с тем, чтобы *также* получить...но уже не что-нибудь, а гораздо больше первых: пролезть в люди, сделать себе карьеру, нахватать всяких земных благ, и все это, сударь мой, на счет сирот, вдов и калек всякого рода, на счет того, изволите ли видеть, что их очень уж глубоко затрагивает общественная польза и народные скорби? Ну, что же это, помилуйте-скажите, если не фиглярство, не шарлатанство, – хуже этого: не пройдошество и не надувательство? И есть же, помилуйте-скажите, люди, которые им ве-

рят! И все сходит им с рук, – все решительно! В древней Греции, говорят, было такое племя: хиосцами называли; им по указу каких-то эфоров дозволялось пакостить всенародно, так же вот, как и этим благотворителям... Они пакостят, всем тошно, а им ничего, только процветают!..

Но на этом месте пути Алексею Максимычу надо было поворотить влево к Казанскому собору; он распрощался с Бериксоном и был рад-раदेशенек, когда доплелся домой и очутился в семье своей.



All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review.

**«Strelbytsky
Multimedia Publishing»**

Saksaganskogo str., 58, office 8
Kiev, Ukraine, 01033

tel. +38044 331-06-20
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

Все права защищены. Эта книга или любая ее часть не может быть воспроизведена или использована любым другим способом без письменного разрешения издателя исключая использование цитат из книг или иного способа предусмотренного законодательством.

**«Мультимедийное
издательство Стрельбицкого»**

ул. Саксаганского, 58, оф.8
Киев, Украина, 01033

тел. +38044 331-06-20
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

**Электронная книга издана
«Мультимедийным издательством Стрельбицкого»**

С нашими изданиями электронных книг и аудиокниг вы можете познакомиться на сайтах:
www.strelbooks.com **www.audio-book.com.ua**

Желаем приятного чтения!

Свои замечания и предложения направляйте на e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

**Эта книга охраняется авторским правом
Copyright © 2015
«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»**

Примечания

1

В проекте сказано было: **посильные пособия.**

[^^^]

2

Так прозывалось главное имя графа.

[^^^]

3

Это была девочка и больших затруднений не встретилось.

[^^^]

4

Примеры были перед глазами.

[^^^]

5

Иван Иванович всегда на него ссылался.

[^^^]

6

Иван Иванович печально обвел глазами стены церкви и подавил вздох.

[^^^]

Так звали г-жу Турманову.

[^^^]

8

О недостающих деньгах не было упомянуто.

[^^^]

9

Последнего доктор не предсказал.

[^^^]

10

Ему минуло шестьдесят три года.

[^^^]

Так звали в обществе молодого графа за его разварную наружность и неясное произношение, происходившее от несоразмерной толщины языка, неловко как-то шлепавшего во рту.

[^^^]

Он хотел сказать другое слово, но удержался; резко выразаться было вообще не в его характере.

[^^^]

13

Тут он дал щелчок по отвороту фрака.

[^^^]

Он указал глазами на Шилохвостову.

[^^^]

Бериксон выразительно щелкнул себя по левому отвороту пальто.

[^^^]

Тут Бериксон снова пустил выразительный щелчок в левый отворот пальто.

[^^^]